И. БАШКИРЦЕВ

ЖИЗНЬ ИЗМЯТАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МЮНХЕН

И. БАШКИРЦЕВ ЖИЗНЬ ИЗМЯТАЯ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И. БАШКИРЦЕВ

Жизни измятая

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МЮНХЕН
1974

Gesamtherstellung: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ОТ АВТОРА

Сегодня, приступая к набору третьей части «Жизни измятой», я вспомнил, что не дал, в предыдущих частях ни «Предисловия», ни «От автора», столь обычных и даже обязательных в книгах других писателей. Хотя я никогда не считал себя настоящим автором-писателем, но все же, именно потому что это обычно, решил набрать, именно набрать, а не написать, что-то от автора. Я работаю в типографии, очень занят и всегда вожусь с чужими рукописями. Мне некогда писать и переписывать на машинке свои рукописи и потому я набирал свои книги, и теперь буду набирать, почти без рукописей, если не считать листы и листики заполненные наспех написанными короткими конспектами. И уже потому, что по таким конспектам никто не сможет набирать, я делаю это сам. Я отлично знаю, что такой метод «писания» очень необычен и, главное, дает необработанную продукцию. Поэтому я очень прошу читателей простить множество недоделок в моих книгах. Многим показалось шаблонным и уж очень примелькавшися название моей книги: «жизней» всяких написано в эмиграции множество. Но я хочу подчеркнуть, что описываемое мной не просто жизнь, а именно *измятая* жизнь. Измятая событиями, измятая окружением, измятая потерей веры во многое . . . вообще — измятая.

Прекрасно зная недостатки моего писания, я, однако знаю совершенно определенно, что они имеют одно, неоспоримое, достоинство — в них почти с фотографической точностью, показана жизнь, как я ее видел —

без всяких ограничений идеологией или идеологиями; без учета того, кому что понравится, а кому не понравится.

Единственной моей целью было постараться дать возможность читателю задуматься над измятостью наших жизней. Я вовсе не собираюсь сказать, что читатель не имеет такой возможности при чтении других книг, но я убежден, что эта возможность у него отнимается идейной направленностью большинства их. В этом большинстве, если пишет «красный» — хороши только революционеры, а пишет «белый» — только белые. А я считаю, что и те и другие — люди, со всеми их достоинствами и недостатками.

Может быть и я пишу под влиянием идеи, но эта идея — просто человек и она выражается в моем желании заставить человека думать по-человечески, а не по-красному или по-белому. Я знаю, что мои первые книги оценены одними как слишком «белые», другими — как слишком «красные» и только немногими, как просто человеческие. И вот, приступая к набору третьей части, я утешаю себя надеждой, что, хоть некоторые читатели заметят, что «Человек — звучит гордо», но, в то же время, это «гордо» измято, искалечено, унижено мнущей всё и всех жизнью.

ГЛАВА I

«Кеттен Хунде» вогнали колонну пленных в Феодосию. Хотя улицы были почти пусты, Бурину было стыдно, ему казалось, что каждый глядящий на него думает: вот идут «герои» с перепугу сдавшиеся немцам. Хотелось крикнуть: я не сдавался, я думал, я... Но он шел в колонне пленных. Подвели к какой-то, похожей на баз для скота загородке из бревен в руку толщиной, разделенной, такими же бревнами на несколько отделений. Загнали в самое большое. Появилась новая группа немцев и среди них человек в какой-то полувоенной, полугражданской форме. Он вышел из группы и закричал:

— Офицеры, выходите!

Никто не тронулся с места. Бурин подумал: «Все боятся. Недаром, ведь, рассказывали о том, что офицеров немцы расстреливают. Чепуха, не могут они, народ воспитанный на Гёте и Шиллере, быть такими зверьми!» И пошел к вызывавшему, переступая через ноги сидевших прямо на земле. Стали выходить и другие. Скоро собралось **27** человек. Человек в полувоенной форме сказал что-то по-немецки фельдфебелю, тот что-то скомандовал и группу командиров окружили солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками. Повели.

Видя, что ведут к какому-то сараю, Бурин заволновался. «К стене ведут, — подумал он. — Неужели... правду говорили, и они ведут расстреливать?» По мере приближения к стене беспокойство усиливалось и Бурин почувствовал легкую тошноту. «Вот так и кончится *всё»,* — чувствуя как тошнота поднимается вверх, подумал Бурин. Но у стены не остановили. Провели мимо и ввели во двор. Бурин увидел: во дворе, посредине его, стоит немецкий офицер в сером мундире с серебряными погонами. Подвели к нему. Фельдфебель выкрикнул команду, солдаты остановили группу, а фельдфебель подошел к офицеру и отрапортовал.

— Господа! — неожиданно по-русски сказал офицер. — Я немец, родившийся и живший в России, и хочу сделать для вас, что в моих силах. Прошу вас пообедать в нашей столовой. Большего я, к сожалению, сделать не могу.

Странным показалось Бурину обращение «господа»: и чужим и, в то же время, приятным. Подвели к столовой, офицер, указывая на скамьи стоящие у длинных ничем не прикрытых, но безукоризненно чистых столов, предложил сесть. Когда все разместились за столами, сказал:

— К сожалению мы имеем сейчас только солдатскую пищу. Чем богат, тем и рад.

Принесли немецкие солдатские котелки, наполненные жирным супом с мясом и макаронами. Бурину суп показался очень вкусным и он подумал: «Такой солдатский суп и в нашей керченской комсоставской столовой не давали, а бойцам...» Воспоминание о бойцах несколько испортило ему аппетит. «Я вот, ем, а они, они голодные... Но... не моя вина» — и он доел суп.

— Вот, господа, — начал немецкий офицер, — я на-

деюсь, что после освобождения России мы еще пообедаем — каждый у себя дома. А мой дом в Чернигове.

— А вам хочется опять жить в Чернигове? — спросил Бурин.

— Конечно хочется. Кому не хочется домой? Я, хотя и немец, но — русский.

— А мы — просто русские, но русские *без дома*. Пролетариат не имеет отечества, так сказал Ленин.

— Я уверен, что отечество вам вернется — силой нашего общего оружия.

В разговор с гауптманом вступили и другие. Он говорил, что война — гадость, но необходима, и он верит, что эта война закончится победой и немецкого, и русского народа.

Повели опять к загородке, загнали в нее опять и опять вышел человек в полувоенной форме и закричал:

— Кто жил по эту сторону Буга — выходите!

Несколько человек вышло. Человек в полувоенном велел им идти в одно из отделений база. Потом стал вызывать татар, калмыков, кавказцев. И каждую национальность отводил в отдельную загородку. «Вот черт, — подумал Бурин, — а я никогда не замечал, что мы все разные: татары, калмыки, кавказцы, русские, все были советскими гражданами, а теперь, видимо, нужно всех разделить — каждому в своей загородке быть».

Оставшихся в большой загородке просто русских погнали к стоявшему неподалеку товарному составу и стали грузить в вагоны, человек по 80 в вагон. Тесно было так, что можно было только стоять. Бурин оказался возле забитого решеткой из колючей проволоки окна-люка. «Население» вагона разделилось на две части: в одной — настоящие пленные, севастопольцы, в другой — подобные Бурину «по ошибке» плененные. Сева-

стопольцы потеснились, потеснили других и освободили в углу вагона место для своего полковника, который мог там сидеть. Глядя на этого полковника Бурин думал, что ему, слава Богу, теперь не нужно подчиняться советским полковникам.

Дверь задвинули и скоро в вагоне стало душно. Перед самым отходом состава кто-то подал в окно несколько листовок. Бурин взял одну из них и, убедившись, что она антисталинская, начал громко читать.

— Прекратить чтение! — скомандовал полковник.

— Что?! Прекратить! — крикнул Бурин в ответ. — Довольно вам приказывать! Хватит! По нашим костям в полковники лезли!

В это время почувствовал, что состав тронулся и, одновременно, что кто-то толкает его в бок. Повернулся и услышал, шепотом:

— Не злите их, а то еще из вагона на ходу выбросят. Они могут . . .

— Не выбросят — двери закрыты. Да на них я плевать хочу, — не понимая почему, тоже шепотом, ответил он. И, спохватившись, громко добавил: — Кончилось их царство.

И дочитал листовку до конца.

В окно, через решетку из колючей проволоки, видны поля. Вот проплывает мимо украинская деревенька. Бурин глядит на белые хатки и думает: «Вот тут уже живут не колхозники, а свободные крестьяне». На полустанке возле деревни поезд остановился. Из деревни выбежали бабы и побежали к составу, неся в руках узелки. Бабы подбежали к вагонам, а в это время из вагона, в котором ехал конвой, выскочили немцы, стали направлять баб к своему вагону. Фельдфебель стал брать из рук баб узелки и передавать их своим солдатам. В узелках были яйца, хлеб, сало и прочее, что ба-

бы хотели передать пленным. Забрав у них узелки, фельфебель скомандовал и солдаты отогнали баб от состава. Фельдфебель, с довольным лицом, сказал:

— Нур фюр дейтше!

Бурин понял, что «нур фюр» значит — только для, а что такое «дейтше» — не знал. Но когда увидел, что немцы и не собираются раздавать съестное пленным понял, это это, очевидно, равносильно «немцам». В вагоне было душно и нестерпимо мучила жажда. Фельдфебель вынес из своего вагона несколько кубиков, и один из них подал в окно вагона. Бурин взял и прочел на кубике: «Кунстхониг». Раскрыл пакетик и разделил содержимое его на малюсенькие кусочки, по числу людей в вагоне. Съев искусственный мед, почувствовал, что жажда стала еще нестерпимее.

Выстукивают свое «Вот как труд-но!» колеса. Жарко и душно в вагоне. Жжет жажда. Поезд остановился. «Вот теперь, наверное, дадуть пить», — подумал Бурин. Пленные в вагонах кричали: «Пить!», «Пить!» Железнодорожники с ведрами кинулись к вагонам, но немцы, угрожая штыками отогнали их прочь.

Приехали в Днепропетровск. Состав загнали на запасный путь. Вагоны, по очереди открывают. Слышно как кричат конвойные. Вот открыли дверь и вагона Бурина. Кричат конвойные, выгоняют из вагона. Куда? Построили всех у эшелона, по пять в ряд. Немцы отсчитывают по десять рядов и гонят куда-то. Попал в число отсчитанных и Бурин. Погнали. Бурин увидел кучу одежды. Возле нее опять человек в полувоенном.

— Снимайте и бросайте в кучу шинели и пояса! — скомандовал тот.

За кучей шинелей и поясов стояли бочки. Возле каждой — человек с черпаком в руке. Бросившие шинели и пояса в кучу подходили к бочкам и раздаваль-

щики выворачивали в их котелки что-то красное. Подставил свой котелок. Увидел, что красное — это вареные бураки.

Без шинелей и поясов, но с бураками в котелках, погнали обратно в вагоны. Воды не дали и Бурин, как и большинство других, на ходу с жадностью выпил сладковатый красный бурачный отвар.

Под стук колес принялись поедать бурак. Жидкости уже не было, а сами бураки были сладковатые и противные. Жажда мучила по-прежнему. Из-за духоты место у окна стало очень важным и около него стояли по очереди. К вечеру Бурин очутился в середине вагона, рядом с севастопольцами. Его соседом оказался здоровый рыжий матрос. Стали готовиться спать, но стоя спать невозможно. Из затруднения вышли так: один садился на пол, другой садился на его ноги и так, постепенно, сели все. Сидя можно было заснуть. На ногах Бурина оказался рыжий матрос. Бурин уснул, но вскоре проснулся от боли в ногах, на которых сидел севастополец. Может быть, если бы сидел свой, Бурин стерпел бы, но матрос был ему отвратителен.

— Не дави так! — толкая севастопольца, злобно сказал Бурин.

Матрос трехэтажно выругался. Бурин озверел и хотел ударить, но было так тесно, что и размахнуться не смог.

Ночью несколько раз просыпался на остановках. Слышал, как кричали, и даже иногда стреляли, немцы, отгоняя от поезда подносивших воду.

Утром опять все встали на ноги, болевшие от нагрузки на них ночью. Перед вечером состав остановился. Слышно, как отодвигают двери и кричат немцы. Бурин вдруг вспомнил, что на руке сохранился марш-компас. «Нельзя его оставить немцам!» — подумал

он. В это время стали открывать дверь. Заорали немцы, выгоняя из вагона. Как только стало немного просторнее, Бурин снял компас, бросил его на пол и растоптал каблуком.

Выгнали всех из вагонов, построили в колонну по пять, пересчитали ряды и погнали куда-то.

— В лагерь гонят, — сказал сосед Бурина. — В Житомир привезли. Я служил здесь.

Пригнали к воротам. Часовой открыл их и Бурин увидел кирпичные казарменные постройки и огромный двор, разделенный колючей проволокой на участки. Вогнали во двор. Остановили. Опять вышел человек в полувоенном и закричал:

— Офицеры, выходи!

Один за другим стали выходить. Бурин, вдруг, решил, что лучше остаться с рядовыми, и не вышел. Группу командиров окружили солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками и повели к двухэтажной казарме. Остальных загнали в одну из загородок, где уже было много людей.

Не успел Бурин оглядеться, как вдруг услышал:

— Иван Иванович! Иван Иванович!

Обернулся на голос и увидел станичника, продирающегося к нему.

— Вот довелось опять встретиться, — подойдя сказал тот. — Может быть, и домой вместе вернемся.

— Вы как сюда попали? Давно?

— Да нет, только вчера.

И земляк рассказал, что его и других станичников, взяли в армию на другой день, после того, как уехал туда же Бурин. А попав на фронт, станичники, дождавшись первой возможности, сдались в плен.

— Вот, Иван Иванович, теперь только остается решить, что делать?

— Что ж тут решать? В плену не вольны мы свой судьбой распоряжаться.

— Плен — это временно. В листовках написано, что каждый может делать, что хочет. Хочешь винтовку брать и против Сталина идти — бери, хочешь работать — работу дадут, а если твоя территория уже освобождена — можешь домой идти.

Тем временем к ним подошло еще несколько земляков. Здоровались, поздравляли с уходом «оттуда» и . . . с попадением в плен. Словно плен — не плен, а освобождение. Так думали эти люди. Они верили, что плен — только временное. Верили тому, что немцы писали в листовках. И в то же время хвалили Бурина, что он остался среди рядовых.

— Оно, знаете, — сказал один, — говорили у нас, что немцы офицеров расстреливают. Оно, хотя и советская пропаганда, но все же . . . береженного Бог бережет, Иван Иванович.

Наговорившись с земляками Бурин принялся осматриваться. Загородки были отделены одна от другой высокими заборами из колючей проволоки, а весь лагерь — опять таким же забором, за которым находилась полоса метров в 25 с лежащими на ней спиралями Бруно, за ними опять забор из проволоки, а по углам — деревянные вышки, из которых торчали пулеметы. Каждая загородка внутри двора имела ворота, охранявшиеся человеком в советской форме, с короткой дубинкой висящей на поясе. Загородки между собой непосредственно не сообщались. Заборы из колючей проволоки отделялись один от другого проходами в несколько метров. По этим проходам бродили люди, воровито предлагая что-то пленным. Подошел к одному такому и Бурин.

— Табак хочешь? Купи! — быстро вполголоса пробормотал тот. — Давай двадцать рублей!

Бурин обрадовался возможности закурить, отсчитал деньги, сунул их через проволоку и получил маленький бумажный сверток. Не успел еще развернуть его, как продавец исчез. Развенул сверток. В нос ударил разкий запах — в бумажке была щепотка красного с черной золой табака из окурков. Злясь Бурин пошел вдоль забора, надеясь увидеть и выругать продавца. Вместо него увидел у забора человека, нет не человека, а живую мумию: коричневая кожа обтягивала череп с выдающимися скулами, меж синеватых узких губ белели зубы, тонкие, словно кости обтянутые тоже коричневой кожей, руки, огромные глаза, глядящие без всякого выражения. Одет человек-мумия был в ставшие черно-коричневыми остатки красноармейской формы. Бурин подошел к нему. Человек-мумия не пошевелился. Стоял и смотрел на Бурина неподвижными глазами. Бурин, пораженный видом человека-мумии тоже не шевелился. Наконец спросил:

— Ты откуда?

Тот ничего не ответил?

— Ты откуда? — повторил Бурин.

Человек-мумия, наконец, перевел взгляд на Бурина, и слабым монотонным голосом ответил:

— С водокачки.

— С какой водокачки?!

— А вот попадешь на нее — узнаешь, — так же монотонно ответил тот, медленно с трудом повернулся и так же медленно пошел прочь.

Бурин с недоумением глядел ему вслед. Позже он узнал, что на водокачку отправляли доходяг.

Начинало вечереть. Бурин обратил внимание, что в одном месте образовалось что-то похожее на толкучку. Пошел туда и увидел, что это действительно толкучка. Продавали и покупали всякую всячину. Бурин

смотрел на торговцев и покупателей и думал: «Человек всегда — человек. Всегда ищет возможность что-то делать, чем-то зарабатывать. Как-то улучшать свое положение. Вот из-за этого люди и оказались здесь»,

Стало темнеть. На вышках по углам лагеря включили прожекторы и длинные белые лучи заскользили по загородкам.

Спал плохо. Было холодно, мешали резкие лучи прожекторов с вышек, непрерывно бродившие по двору. Когда стало сереть Бурин обрадовался концу тяжелой ночи. Кругом ежились люди, размахивали руками, стараясь согреться. Наконец взошло солнце и стало пригревать.

К воротам подошла группа людей в советской форме, с комсоставскими поясами, в парадных пехотных, с малиновыми околышами, фуражках. «Полицейские», — решил Бурин и тут же заметил, что эти полицейские отличаются от тех, что стояли у ворот. Эти, кроме дубинок на поясах, имели в руках плетки с короткими рукоятками. Полицейские открыли ворота и вошли во двор. Подошли к пленным и, не успели те еще сообразить, с кем имеют дело, и расступиться, давая полицейским проход, как те начали хлестать плетями по ком и куда попало. Бурин увидел, как многохвостная плеть, с пулями на концах ремней, хлестнула по лицу человека, как на нем появились кровавые шрамы, как человек поднял руки, защищая лицо от второго удара. Услышал, как полицейский, злобно выкрикнул:

— Не попадайся в плен, гад!

Пленный, с побледневшим лицом, на котором особенно отчетливо была видна кровь, отбежал в сторону.

«Что это?!.. Избивают!.. Кричат: не попадай в плен!.. — неслись мысли. — Они хуже энкеведистов!»

— По пьять! Становись по пьять! — кричат полицаи и продолжают хлестать людей плетками.

Пленные поспешно начинают строиться по пять. Замешкавшихся полицаи подгоняют плетьми. Бурин, с непонятным ему самому упрямством, стоит на месте. Видит, что к нему бежит, с поднятой плетью, полицай.

«Ударь, проклятый! — бьется в мозгу. — Я тебя голыми руками задушу!».

— Ахтунг! — раздается команда.

Все замерли на местах. Во двор вошел фельдфебель в сопровождении переводчика.

— Ахтунг! — повторил переводчик. — Вчера прибыла команда с двадцатью семью офицерами. Сегодня мы недосчитались одного. Кто знает, где он?

«Лучше смерть, чем плети», — подумал Бурин и шагнул вперед.

— Я пропавший офицер.

— Идите за мной, — сказал переводчик.

Подошли к двухэтажному кирпичному зданию. По широкой лестнице поднялись на второй этаж, вошли в длинный зал без мебели. На голом полу сидели люди.

— Вот я вам привел товарища, — обратился к ним переводчик и, обернувшись к Бурину, добавил: — Обед, вчерашний, вам сейчас принесут. Так приказал фельдфебель. Располагайтесь.

Располагаться было не на чем, и Бурин остался стоять.

Переводчик ушел. Бурин огляделся, узнал нескольких прибывших с ним. Никто его ни о чем не спрашивал. Бурин молча подошел к окну. Услышал, что дверь кто-то открыл. Поглядел: входит полицай с плеткой в одной руке и котелком — в другой.

— Кто тут новый?

— Я.

— Получайте обед.

Бурин взял котелок. Посмотрел в него. Увидел какую-то потрескавшуюся желтовато-серую холодцеобразную массу. Ковырнул ложкой. Показалась какая-то коричнево-зеленая трава. Еще ковырнул, увидел куски гнилого картофеля, гнилые горошины.

«Нет, такую гадость есть невозможно!» — подумал он, поставил котелок на подоконник и отвернулся.

К нему подошел молодой лейтенант.

— Вы не хотите есть? — спросил он.

— Есть я хочу, но такую гадость есть невозможно.

Лейтенант помолчал, несколько раз поглядел то на котелок, то на Бурина и, со смущенным видом, сказал:

— Разрешите мне съесть.

Бурин не сразу понял, чего хочет лейтенант, а поняв, наконец, ответил:

— Пожалуйста.

Потом смотрел, как лейтенант с жадностью поедает отвратительную массу, и с ужасом подумал: «Неужели и я стану таким?»

А лейтенант, съев все, словно извиняясь, сказал:

— Это хорошая баланда — густая. И хоть с гнилыми, но с овощами — витамины.

Присмотревшись к окружающим Бурин заметил, что они разделились на две части: одна, большая — просто комсостав, другая, меньшая — кавказцы. Это уже не удивило его, после деления на национальности в Феодосии, но там делили немцы, здесь же, явно, разделились сами. Он присоединился к большей группе. Сосед рассказал, что сидит здесь уже довольно давно. Каждый день выгоняют, на полчаса, на прогулку во двор, предварительно очищенный от рядовых; в уборную, тут же в доме, водят раз в сутки, а в остальное время приходится пользоваться парашей, стоящей у

двери; пищу дают раз в сутки; командует всеми полицай, принесший Бурину обед.

— Ах, гад, — с плеткой?

— Да нет. Он тоже из комсостава. Плетку носит для вида. А сам только уговаривает.

Время подходило к обеду. Полицай принес несколько маленьких черных хлебцев. Раздал их выборным и ушел. Выборные принялись делить хлебцы — каждый на 15 частей. Бурин смотрел на осторожно режущего на маленькие кусочки хлебец выборного и думал, что тот действует так, будто не хлеб делит, а золото.

Кусочки хлеба расложили на подоконниках, возле каждого стал один выборный, лицом к хлебу и, указывая пальцем на кусочек, говорил: «Кому?»

Стоявший к нему спиной называл получателя. Так «раскричали» порции. Бурин получил кусочек, попробовал и убедился, что хлебом можно называть самые невероятные изделия. Хлеб был из древесных опилок с примесью чего-то клеющего. Этот «хлеб», когда Бурин жевал его, шуршал во рту. Но и этот, шуршащий, хлеб показался голодному Бурину вкусным. Он, чтобы продлить удовольствие, ел медленно, кладя в рот малюсенькие кусочки. Но удовольствие скоро кончилось — порция была ничтожная.

Бурин стоял у окна и смотрел во двор. Там готовились к раздаче обеда. Из кухни вынесли пять бочек и поставили их в конце узких, как для пропуска скота для подсчета, отгороженных бревнами проходов. Возле каждой бочки стал человек с черпаком сделанным из литровой консервной банки, прибитой к палке.

— А черпаки они, сволочи, уменьшают, — сказал стоявший возле Бурина лейтенант, съевший принесенный Бурину вчерашний обед.

— Кто сволочи? Как уменьшают?

— Да повара. Дно в банках вдавливают.

— Вдавливают? . .

— Да, вдавливают. Да вы что, не от мира сего, что ли? Вдавят донышко, с каждого понемножку, а всего — много. Жратва здесь дороже денег.

— По пьять! По пьять! — слышны крики полицаев.

Построили на обед. Первые партии уже у проходов к бочкам. Возле каждой бочки, рядом с поваром, становится полицай с плетью. Пленных быстро гонять через проходы. Подойдя к бочке каждый подставляет, что у кого есть: котелок, банку, кулек из бумаги, а то и пилотку. У бревен прохода тоже полицаи. Они лупят плетьми каждого, кто хоть немножко задерживается.

Видя как плети то и дело опускаются на спины пленных, Бурин сказал:

— Мерзавцы! Развлекаются.

— Может быть мерзавцы, а может быть и нет, — сказал в ответ лейтенант. — Если допустить беспорядок, побьются у бочек.

— Порядок, конечно, нужен, но нельзя же людей плетями бить!

— Другим не удержишь. Пища — жизнь, а за нее люди цепляются.

В это время раскрылась дверь и двое полицаев внесли бачек с обедом, поставили на пол и ушли. Офицеры, в отличие от прочих, имели право сами делить пищу. То, что Бурин получил в свой котелок, было тоже желтовато-серым, но горячим и жидким. Теперь оно не показалось уже отвратительным и он, съев жижу, принялся за гущу, и даже удивился, что картофель и гнилой можно есть, и горох, хоть и гнил, но съедобен. Только траву не съел. Опять подошел к окну. Раздача обеда уже кончилась, но бочки еще стояли. Бурин увидел пленного, кравшегося к бочке, а за ним, как охот-

ник, крался полицай. Вот пленный у бочки. Оглянулся. Полицай спрятался за углом. Решив, видимо, что опасности нет, пленный хотел зачерпнуть из бочки, но в это время на него кинулся полицай и... начал колотить плетью. Пленный, закрываясь руками, хотел бежать, но дорогу преградил второй полицай. Этот бил уже не плетью, а дубинкой. Под градом ударов, пленный начал шататься.

— Что ты, сволочь, делаешь! — вдруг закричал, высунувшись из окна лейтенант. — Перестань!

Полицай, не опустив дубинку, посмотрел откуда донесся крик и, забыв о пленном, который моментально кинулся бежать, закричал:

— А, ты, комсоставский гад! Подожди, я тебя научу, как сволочью обзывать!! Я тебе покажу! — и ушел.

Бурин с удивлением смотрел, на лейтенанта, и думал, что вот только-что он говорил о необходимости бить для порядка, а теперь вот как возмутился. «Хотя, конечно, дело разное, бить для порядка и избивать — самосудничать».

В это время кто-то сказал:

— Идут! Сюда идут!

По двору шло несколько вооруженных солдат с фельдфебелем во главе, а возле него крутился тот полицай, который грозил лейтенанту.

Войдя в казарму фельдфебель что-то приказал, а полицай, услужливо перевел:

— Господин фельдфебель приказал построиться в шеренгу.

Фельдфебель стал перед строем. Полицай подбежал к лейтенанту и ткнул в него пальцем. Фельдфебель подошел, вдруг, не размахиваясь, ударил ладонью лейтенанта по лицу. Раз, другой, еще и еще. Голова лейтенанта дергалась от ударов, лицо налилось кровью,

в глазах стояла бессильная ярость. Фельдфебель резко повернулся, что-то лающе сказал, и увел солдат. За ними, довольный, ушел и полицай.

Лейтенант стоял на месте, грудь его тяжело вздымалась, руки сжатые в кулаки, дрожали. Бурину стало стыдно, что он не вступился за лейтенанта, что не смог этого сделать, и он, чтобы оправдать себя, сказал:

— Товарищ лейтенант, — плюньте на все . . .

— Гад немецкий! — задыхаясь сказал тот. И повернувшись к Бурину добавил: — Как это так, плюнуть?! Лучше расстрел, чем вот такое . . .

— А кто его знает, что наговорил полицай этому немцу. Может быть он сказал такое, за что и в самом деле могли бы расстрелять. И, может быть, фельдфебель, фактически, сохранил вам жизнь.

Лейтенант, ничего не ответив, ушел в дальний угол казармы.

На другой день, во время прогулки в пустом дворе, к одному кавказцу подошел полицай, тоже кавказец, и что-то ему стал говорить, но заметив появившегося в воротах фельдфебеля, мгновенно удалился. Едва вернулись в казарму, Бурин услышал:

— Ура! Уже тифлис взяли!

Это выкрикнул кавказец, с которым говорил полицай. В стане кавказцев началось торжество. Они возбужденно и радостно говорили, смешивая русскую речь с грузинской. Бурин понял, что они надеются скоро вернуться домой.

Прошло несколько дней, однообразных и тяжелых.

Бурин уже стал привыкать ко всему, привык и к появлением своего полицая с плетью. Она уже не казалась ему чем-то оскорбляющим: просто, по форме полагается. Но вот полицай пришел в неурочное время.

Посмотрев по сторонам, будто кого боялся, сказал:

— Вот, я слышал, что нас всех в офицерский лагерь во Владимире-Волынском перевезут.

— А что это за лагерь? — спросил один. — Как там кормят?

— Я мало об этом знаю, но говорят, что это лагерь исключительно для офицеров. Говорят, что там не бьют, что там по пятьсот грамм настоящего хлеба дают. Я еду вместе с вами.

— Вот так, с плетью?

— О нет. Простым пленным.

Бурин подумал, что, может быть, этот полицай потому и был хорош с ними, что боялся, предчувствуя возможность отправки в другой лагерь «простым пленным». В таком случае ему в дороге не поздоровилось бы.

ГЛАВА II

Владимир-Волынский. Когда открыли двери вагона Бурин увидел целый взвод солдат. Группу командиров вывели из вагона, построили по пять, пересчитали и солдаты, окружив ее, погнали в лагерь. Бурин думал, что, видимо, немцы считают их очень опасными, так как штыками чуть-чуть не колют в бока; и лица у конвоиров напряженные. Так пригнали к лагерю. Мимо красного кирпичного здания комендатуры с развивающимся на нем знаменем со свастикой ввели во двор, остановили. Появившийся переводчик, опять в полувоенном, приказал снять сапоги. Взамен их выдали деревянные сандалии с полосой парусины вместо ремня. После этого направили к столам, где производилась регистрация и опрос. Когда и это кончилось, распределили по батальонам и ротам. Пришедшие командиры лагерных рот развели людей по помещениям.

Бурин попал в угловую, в самом дальнем углу двора, длинную кирпичную казарму. Командир роты передал его командиру группы, желтому и худому человеку без знаков различия. Тот указал Бурину место на третьем ярусе деревянных нар, идущих по обеим сторонам прохода, вдоль всей длинной казармы, разделенной на несколько комнат стенами с высокими и широ-

кими арками вместо дверей. Положив на нары вещевой мешок, Бурин направился к выходу. Тут его кто-то окликнул:

— Эй, товарищ!

Бурин посмотрел в сторону окликнувшего, увидел худого и желтого «старика». А тот продолжал:

— Слушайте, у нас лучше свое барахло всегда при себе держать. Не то сопрут. Здесь каждая тряпка на вес золота.

— Но ведь это офицерский лагерь! — удивился Бурин. — Я думал . . .

— Да что тут думать. В плену все меняется. Да и какие мы тут офицеры? Ничто мы тут. Вы свои идеи забудьте. Лучше будет без них-то. Помните, что когда люди голодные, человек человеку — зверь.

— Но, ведь вы, вот, обо мне беспокоитесь. Значит вы — не зверь.

«Старик» горестно улыбнулся. Посмотрел на Бурина и, с непонятным тому раздражением, сказал:

— Я, может быть, еще не зверь, но боюсь что тоже озверею. Я вот, может быть, потому и предупредил вас, что боялся спереть ваш мешок, когда вы уйдете.

Бурин поблагодарил за совет. Взял мешок и направился к выходу.

По двору во всех направлениях бродили пленные. В большинстве это были люди в коричнево-серых остатках формы, с желтой кожей, тощие и с ничего не выражающими лицами. Как Бурин узнал позже, это были «старики», пережившие самое страшное и голодное время. Бурин оглядел двор, со всех сторон окруженный зданиями. От комендатуры, отгороженной от общего двора высоким забором, с широкими воротами, шла широкая, вымощенная щебнем и ограниченная по сторонам булыжниками, дорога, рассекающая двор на две

части и ведущая к стоящему на возвышении, обрывающемуся в сторону двора высокой белой стеной, белому двухэтажному зданию. Дорога подходила к широкой лестнице, в середине стены, ведущей к площадке, на которой стояло здание. На площадке были посажены цветы, а на белой стене, отделяющей площадку от двора были какие-то вазы. Справа от здания, длинная одноэтажная кухня, еще правей — казарма, куда попал Бурин. Слева — низкое здание, как позже узнал он, — баня, а еще левее — опять белое небольшое здание. На правой стороне двора, если глядеть от комендатуры, большое четырехугольное кирпичное здание, почти рядом с казармой, потом, левее, тоже кирпичный, двухэтажный дом — поменьше. Другая сторона двора занята длинной красной кирпичной казармой. Оглядев все это, Бурин подумал: «Конечно, здесь раньше был военный городок. Комендатура — штаб, меньшее двухэтажное здание — квартиры комсостава, большее — санчасть. Белый дом на возвышении — клуб. Рядом — кухня, с другой стороны — баня».

Весь двор был окружен двумя рядами проволочных заграждений. Первый — низенький, второй — высокий. Между рядами колючей проволоки — полоса зеленой травы, метров в 15. В траве лежат спирали из колючей проволоки. На линии низкого заграждения, по углам, высокие деревянные вышки с выглядывающими из них пулеметами и прожекторами. Бурин, видя зеленую траву между заграждениями, подумал: «Странно, во дворе ни травинки и деревья без листьев, будто зимой, а там такая зеленая трава!»

Его размышления прервал голос:

— Простите, вы новенький, откуда?

Бурин увидел «старика» с худым бронзовым лицом, над выдающимися скулами глаза, огромные глаза, гу-

бы синеватые, узкие. Одет в обрезок черновато-коричневой шинели, хватающий до пояса, бывшие когда-то защитными штаны, на ногах такие же, как у Бурина, деревяшки.

— Я из Житомира. А что?

— Как там кормят?

— Баланду раз в сутки давали, да по пятьдесят грамм хлеба.

— А какая баланда? Густая?

— Густая, да из гнили.

— Из гнили — это ничего. Главное густая. А нас, сначала, почти ничем не кормили. Думали, всем конец. Потом приказ пришел, стали кормить, как теперь.

— А как теперь кормят?

— Утром кофе, потом два раза по литру баланды, перед вечером опять кофе и пятьсот грамм хлеба.

— Так тут прямо рай! — воскликнул Бурин.

— Да, рай, — ответил «старик», — только такой, что в духа обратишься.

— Почему? Пятьсот грамм хлеба, два раза баланда, да еще два раза кофе. Чего же тут в духа обращаться?

— Все это питание — бескалорийное. Кофе — вода, баланда — вода с шелухой, правда хлеб — настоящий. Без жиров всё и без витаминов. Чтобы от цынги не пропасть, все листья с деревьев съели.

— Зачем же с лагерных деревьях листья есть, — спросил Бурин, — когда кругом сосновый бор? Неужели нельзя оттуда хвои привезти?

— Конечно, можно, да немцы не позволяют.

— Почему, не позволяют? Что им хвои, что ли, жалко?

— Хвои им не жалко, да и нас — не жалко. У них, говорят, приказ есть нас так кормить, чтобы мерли.

— Не может такого быть! Что они, не знают что ли,

как нам в СССР жилось? Не знают, что не враги мы им? Не поверю.

— Побудете в лагере — поверите. А что касается СССР, так не всем там плохо жилось. Вам тоже, наверное, вовсе не плохо было.

— Почему вы делаете такое заключение?

— Потому, что вы думаете, что культурные немцы не могут быть такими нечеловеками, чтобы приказы об уничтожении людей отдавать.

— Ну и что же, что я так думаю? Это естественно.

— Конечно естественно. Но только для людей, которые, живя в СССР, не чувствовали на свой шкуре, приказы об уничтожении граждан. Потому я и сказал, что вам там неплохо жилось.

— Позвольте. Я там о таких приказах не слышал.

— Вот и оно. Не слышал, — ехидно передразнил «старик». — А коллективизация? Разве не по приказу, чтобы загнать в колхозы, людей голодом морили? Не слышал . . .

— Коллективизация — это перегиб. Об это и Сталин писал.

— Конечно писал. «Головокружение от успехов», не правда ли? Очень убедительно писал «отец народов». А кто заставлял делать эти успехи? Сам же и заставлял. А потом «закружившиеся» головы с плеч поснимал. Все на других свалил.

— Это я знаю, но, думаю, что все-таки было много перегибов.

— Вы думаете, а я знаю, что правду говорю.

— Откуда же вы это знаете?

— Оттуда, что сам едва тогда головы не лишился. А я не перегибал, а делал только то, что приказывали. Вот и толкуйте теперь, что не верите в возможность от-

дачи немецким начальством приказа об уничтожении пленных.

Не зная что возразить, Бурин переменил тему.

— Ну, а какой здесь вообще порядок? Правда, что полицаи здесь не бьют?

— Порядок здесь, официально, офицерский. Полицаям бить пленных запрещено, солдатам — тоже. Если кого и бьют, то по решению суда.

— Какого суда?

— А черт его знает, какого. Читают приговор: «по решению суда», а кто судил — не говорят. А станешь спрашивать, сам получишь двадцать палок. Вот вам и порядок. Солдатам бить запретили, а оружие применять — нет. Хрен редьки не слаще.

В это время во дворе зашевелились и «старик» сказал:

— Пора на обед строиться. Пойдем.

Подойдя к своей казарме, Бурин стал в строй и по команде командира роты, двинулись к кухне. Там полицаев почти не было видно, а те немногие, которые стояли возле нее были без палок, только с нашивками на рукавах. Никто не кричал, не подгонял. Подойдя к окошечку кухни Бурин подставил котелок и в него вылили черпак баланды. Бурину казалось, что он попал в другой мир, когда он вспомнил, каким криком и битьем сопровождались выдачи обеда в Житомире. Но посмотрев в котелок огорчился. В желтоватой воде плавала серая гречишная шелуха. И той две-три чайных ложечки. В казарме принялся хлебать баланду без хлеба. Хлеб раздали утром, когда он еще не прибыл. Баланда была не соленая, ни каких признаков жира в ней не было и Бурин вспомнил слова «старика» об обращении в духа.

После обеда Бурин вышел во двор. Возле казармы

толкучка. Торгуют всем, мыслимым и немыслимым. Один продает «закрутки» — цыгарки из махорки, другой — настоящие сигареты «Спорт», третий — соль, за три рубля ложку, четвертый — картофельные очистки, пятый — куски шинели, и так далее. Торговля шла бойко. Даже запрещенные товары, как, например, ножи, можно было купить. Правда эти ножи были самодельные, но все же ножи. Продавали и бывшие в употреблении лезвия безопасных бритв. Бурин вспомнил, что давно не брился и купил себе одно. Вернувшись в казарму попытался бриться. Но это оказалось очень непростым делом: не было зеркала, не было мыла и тупое лезвие рвало волосы. Наблюдавший за попытками Бурина сосед сказал:

— Да вы привяжите лезвие к палочке, лучше будет.

— Верно. А я не сообразил. Спасибо за совет, — и Бурин пошел искать подходящую палочку.

Вышел во двор. Осмотрелся. Двор чисто выметен. Ветки деревьев очень высоко, к забору подходить запрещено. «Найду у кучи дров», — подумал он и пошел к ней. Но и тут дело оказалось много сложней, чем показалось Бурину сначала. От бревна нужно было отколоть щепку, но чем? Бурин с досадой смотрел на дрова, не зная, что делать. Выручил подошедший пленный. Он, узнав чем озабочен Бурин, дал ему самодельный нож и просил только быть осторожным, чтобы не сломать.

— Уж очень много работы, чтоб его сделать, — закончил он.

— А из чего и как можно здесь нож сделать? — спросил Бурин.

— А вон там, за вошебойкой, — пленный указал на здание левей клуба, — много шлемов. От шлема можно отбить кусок, а из него нож выточить.

— А на чем же точить?

— На полу. Пол же цементный. Правда медленно, но верно. Время все равно девать некуда.

Отколов щепку от бревна, Бурин осмотрел нож, решил, что такой, а может и получше, он сделать сумеет. Возвратил с благодарностью и хотел уже уйти, но пленный спросил:

— А что вы хотите с этой щепкой делать?

— Хочу сделать из нее рукоятку для бритвенного лезвия.

— А чем же вы это, без ножа, делать будете? Не торопитесь. Сделайте моим ножом.

Он посоветовал надколоть щепку, чтобы в раскол вставить лезвие, а саму щепку обрезать, чтобы стала круглей. Бурин сделал так. Отдал нож, поблагодарил и зашагал к казарме. Там вставил лезвие в раскол и . . . понял, что чтобы привязать, нужна веревочка или толстая нитка, а у него их нет. Тот же сосед, что посоветовал сделать рукоятку для лезвия выручил опять.

— «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет», — сказал он. — При нужде нужно изобретательным быть. Вы, я вижу, не можете сообразить, чем привязать лезвие. Мало еще в плену пробыли. Посмотрите на свои ноги.

Не понимая, какое отношение его ноги имеют к тому, чем можно привязать лезвие, Бурин все же посмотрел. Увидел деревяшки с парусиной вместо ремней. Его осенило: из парусины можно вытянуть нитку.

Поблагодарил соседа за совет, снял с ноги деревяшку и принялся за работу.

Вытащить из парусины нитку, хотя с трудом, но удалось. И Бурин укрепил ею лезвие в рукоятке. Начал скоблить лицо. Сухую бороду тупое лезвие брало

очень плохо. Было так больно, что на глазах выступили слезы.

— А вы послюните место где бреете. Лучше мыла.

Бурин послюнил. Правда, лучше идет. Теперь, уже не стесняясь, сказал соседу:

— Бреет, действительно лучше, но вот только... как без зеркала?

— А вы пойдите к окну. И светлее будет, и в стекле видно, как в зеркале.

Перед вечером, уже получив и съев второй раз баланду, получил и кофе. Попробовал и совершенно согласился со «стариком», сказавшим, что от лагерной пищи духом сделаешься. Баланда была водой без соли и жира, но хоть с гречишной шелухой, а кофе — вода, правда коричневая, но без ничего.

При заходе солнца пленные со двора ушли в казармы, нескольких замешкавшихся, заставили, правда уговорами, сделать то же полицаи. Они же закрыли двери казарм. С наступлением темноты пленным, под угрозой обстрела с вышек, было запрещено появляться во дворе. Жизнь сосредоточилась в слабо освещенных казармах. В проходах между нарами стояли и ходили люди. О чем-то разговаривали. Счастливые обладатели мест на первом ярусе нар сидели на них: каждый проводил вечер по-своему. Бурин, утомленный переживаниями дня, залез на свое место, скатал в рулон вещевой мешок — вместо подушки, лег, сжался в комочек и заснул.

Проснулся от того, что что-то жгло тело. Обожженные места чесались. «Блохи», — сообразил Бурин. Попытался опять заснуть, но зуд не дал. «Нет, долго не улежишь, — решил он, — надо слезть». Посунулся ногами вперед, почувствовал под коленями край досок, и сел. В полусвете прохода возились люди, голые до по-

яса. Каждый держал в руке, свисающую на подобие грязно-серого флага, рубаху. Каждый другой рукой то и дело хлопал по этому «флагу», что-то брал большим и указательным пальцами, старательно растирал и бросал на пол это «что-то». Бурин слез с нар. Стянул с себя лоснящуюся, ставшую темно-коричневой от грязи и пота гимнастерку. Положил ее на нары. Снял тельную рубаху. На темно-сером ее фоне трудно было заметить блох. Попытался стрясти их, услышал:

— Ты что, лучше всех? Держи своих блох при себе. Вот, тоже, цаца — на других трусит!

Обернулся, рядом стоит парень, тоже без рубашки, с бронзовой кожей. Посмотрел на него внимательно, сравнивая цвет его кожи, с цветом ее у доходяг. Она была, правда, тоже коричневая, но не так обтягивала кости. Вернее, казалось даже, что парень и не худой.

— Ты чего уставился?

— Я . . . я не уставился.

И вдруг, неожиданно для самого себя, добавил:

— Коричневый ты, словно загорел.

— Тут не только загоришь, только не от солнца, а сгоришь — с голоду.

— Нам, в Житомире, говорили, что тут совсем хорошо кормят.

— Здесь, сначала, почти совсем не кормили: прямая дорога на тот свет была. Я еще не успел совсем доходягой стать, когда стали кормить, как теперь. Я даже вроде потолстел, распух от воды. А много людей загнулось. Кто выжил — «загорелым» стал. Вот пойдешь завтра на зарядку, сам увидишь.

— На какую это еще зарядку?! — удивился Бурин.

— На какую зарядку? — передразнил парень. — На самую настоящую: делай раз, делай два . . . тьфу черт!

У нас тут, видишь ли, дивизия, полки и роты — на военный манер.

— Не знал я . . .

— Подожди, узнаешь. А ты вот что, чем блох на других трясти, спросил бы опытных. Ты смотри, она, блоха, живая — двигается. Так ты и смотри, где задвигалась — хватай, вот так.

Он нацелился, схватил, растер, бросил.

— Ну, ладно! — сказал он. — Пойду спать.

Бурин, напрягая зрение, принялся искать, что движется.

Вернулся на нары, лег. Было холодно, давили доски и заснуть было трудно. Сжался в комочек. Стало лучше. Заснул.

Проснулся рано. Слез с нар и пошел по проходу между ними. Дверь еще была закрыта и от нечего делать он принялся осматривать помещение. «Здесь, безусловно, была казарма, — думал он, — выстроенная еще при царе. Здесь жили здоровые, молодые солдаты. А сейчас здесь . . . Сейчас здесь мы — пленные». Наконец открыли дверь. Бурин заспешил к выходу. Утренняя свежесть, после смрадного помещения, была приятна. Потянулся, глубоко вздохнул, огляделся. Сейчас пустой двор показался еще большим, чем вчера. Увидел невдалеке водопроводный кран. Подошел, снял рубашки, обмылся до пояса и решил размяться. Скатав рубашки в рулон, зажал их под мышкой и, сняв деревяшки и взяв их в руку, побежал босиком по усыпанной песком дорожке. Дорожка, дойдя до решетки из колючей проволоки, повернула вправо, потом, метров через сто, уперлась в длинную кирпичную казарму, повернулась опять вправо, дошла до похожего на склад здания и вновь пошла вправо к оштукатуренной белой стене с находящимися посредине ее широкими, веду-

щими вверх, цементированными ступенями. Тут Бурин остановился. Посмотрел, куда ведут ступени. Увидел тоже белое двухэтажное здание с парадным входом. Взгляд вернулся к началу ступеней. Справа и слева от них — белая стена, метра в три вышиной. На стене справа штукатурка оббита, виден красный кирпич. «Точно выбоины от пуль, — подумал Бурин. — Но почему только тут и на одном месте? Если здесь когда-то шел бой, то были бы выбоины везде. А эти — только в одном месте: будто кто-то упражнялся в стрельбе».

Его размышления прервал шум проснувшегося лагеря, и Бурин, надев рубашки и деревяшки, пошел к своей казарме.

Там уже начинали строиться.

Став в строй, Бурин спросил соседа:

— Что это за построение?

— На зарядку, — буркнул тот.

Вышли строем на свою сторону двора. На противоположной стороне стал строй пленных из другой казармы. На дороге, ведущей к клубу, осталась только группа полковников, чего-то ожидавшая. Они то и дело поглядывали на комендатуру. Поглядел туда и Бурин. За высоким забором, отделявшим комендатуру от двора, высоко в небе развивалось красное знамя с белой свастикой. Из окон двухэтажного кирпичного дома комендатуры выглядывали пулеметы. Из дверей комендатуры вышел немецкий офицер, за ним несколько человек в немецкой серой форме и переводчик. Бурину бросились в глаза серебряные погоны офицера и подчеркнуто торчащая вверх фуражка. Вся группа пошла к воротам.

Стоявшие в ожидании на дорожке полковники зашевелились. Один вышел вперед и пошел навстречу

немцам. Едва они вышли из ворот во двор-плац, он заорал:

— Дивизия смирно!

Не дойдя нескольких шагов до немецкого офицера, сам стал по команде «смирно», отдал честь и зарапортовал по-немецки. Немецкий офицер, выслушав рапорт, что-то ответил, стоя так, будто проглотил палку.

Сосед Бурина шепнул:

— Это рапортует один из семи, что перебежали к немцам.

— Вольно! — крикнул полковник.

Бурин ожидал, что последует команда: «Приступить к зарядке», но полковник ее не подал. Все стояли и ждали. Бурин увидел, что на дорожку вывели оборванного худого пленного. Вслед за этим принесли что-то вроде длинного невысокого стола и поставили около него. Немецкий офицер сказал что-то полковнику и тот опять подал команду «смирно!» Комендант что-то лающе прокричал. Переводчик перевел:

— По решению лагерного суда, лейтенант Недошивин, за кражу пайка хлеба, будет наказан двадцатью ударами палки.

Бурин обомлел. Ему показалось, что он ослышался. «Ведь говорили, что здесь не бьют», —подумал он. И словно в ответ на его мысль сосед прошептал:

— Будут бить по «решению лагерного суда». Гады!

Пленного положили, лицом вниз, на стол, привязали к нему, справа стал человек с палкой. Бурин чувствовал, что сердце колотится в груди. Ему все еще не хотелось верить, что можно наказывать палками — бить человека, как скотину. Человек с палкой поднял ее и, с криком «Раз!», ударил. Пленный дернулся и охнул. Охнул так, будто не от боли, а от изумления. «Два!», «Три!», «Четыре!» — падали удары на при-

вязанного к столу. «Пять!»... Пленный вскрикивал и эти вскрики били по нервам Бурина. Казалось, что палка, невидимо, бьет по его душе. Хотелось крикнуть: «Не смейте бить! Расстреляйте, но не бейте!» Но чувство самосохранения не позволило. «Девятнадцать!» Пленный уже не кричал, даже не дернулся при ударе.

«До смерти забили!» — подумал Бурин. Ему было стыдно, что не хватило смелости протестовать. «Двадцать!» Пленный, обмякший, лежал неподвижно. Его стали отвязывать от стола. Отвязали, подняли, двое взяли под руки и потащили прочь. Жалкий худой человеческий остаток пытался передвигать ноги, но только скреб ими по песку плаца.

— Приступить к зарядке! — скомандовал один из полковников.

— Какая тут, к черту, зарядка! — сказал Бурин соседу.

— Ты не кричи! — злобно ответил тот. — А то и самого высекут. Не в армии ты, а в плену.

Это «в плену» больно ударило в сознании Бурина. «Да, в плену, — подумал он. — Плен — это потеря всех человеческих прав, обращение человека в цепляющееся за жизнь животное».

Раздвинулись на несколько шагов, как в армии, и под команду «Делай раз, делай два!» принялись за упражнения. Бурину было нетрудно их делать, но когда он увидел, с каким трудом двигаются «старики», ему стало стыдно, что он силен и здоров. Он стал намеренно делать гимнастику так же медленно и вяло, как они.

После зарядки все разбрелись кто куда. Бурин хотел тоже идти в казаму, но увидел что несколько человек пошло к зданию, что правее клуба. Пошел, из любопытства, туда и он.

Идущие впереди него обошли похожее на склад зда-

ние и скрылись за его углом. Бурин остановился, подумав: «А чего я плетусь за ними?» Подошел к белой стене с красными выбоинами. Посмотрел на них и опять подумал: «Точно выбоины от пуль». В это время услышал со стороны угла здания, за которым скрылись шедшие недавно перед ним люди, удары: будто били чем-то по кастрюлям. Появилось любопытство, и он направился к углу.

За ним увидел людей возле кучи зеленых советских касок. Люди были заняты работой. Каждый бил булыжником по каске.

— Бог на помощь! — сказал Бурин, подойдя к одному парню.

— На Бога надейся, а сам не плошай! Бог ножа не сделает. А без ножа — беда.

«А и верно, — подумал Бурин, — без ножа — плохо. А каски из хорошей стали». Взял из кучи одну каску. Нашел подходящий булыжник и принялся за работу.

Дело продвигалось медленно. Из каски, при ударах камнем, летели искры. Она становилась все бесформеннее, но желаемой трещины не давала.

«Ничего, — утешал себя Бурин, — все равно время некуда девать».

Парень отбросил в сторону камень и посмотрел на Бурина. Потом встал, и, держа в руке полоску стали, подошел к нему. Некоторое время глядел на усилия Бурина, потом сказал:

— А ты не так. Положи ее на камень, чтоб край свисал, и бей по нем сверху.

Бурин послушался. Через несколько минут каска дала трещину. Парень сказал:

— Ну вот. А теперь поворачивай ее и гни в разные стороны.

Вскоре и у Бурина в руке была полоска стали.

— Только смотри, — опять сказал парень, — не попадись с ней немцам. А то, гляди, перед строем палками бить станут.

— Да у всех «стариков» самодельные ножи. Их же не бьют.

— Не бьют, пока не попались. У меня тоже был нож, сам сделал. А как стали обыск делать — выбросил. Теперь, видишь, новый делаю.

— Да, страшно здесь. Утром, когда того били, мне казалось, что и меня бьют. У нас, хоть и расстреливали, но не били. Расстрелять можно за преступление. Расстрел — это страшно, но не унизительно, а бить, бить как животное, — это невероятно унизительно.

— Хрен редьки не слаще. У нас за ничто расстреливали. Одного расстреливали, а тысячи унижали. Страхом унижали. А бить сегодня нужно было не того, а который донес. Пайку красть — это гадость. А доносить немцам — еще большая гадость. Сами могли бы наказать — забрать у него, вместо одной, две пайки, вот и не крал бы другой раз.

— А может быть, просидев два дня без хлеба, опять украл бы. Если уже начал красть, значит воля ослабела, значит уже в животное обратился. А животное надо бить! — к своему удивление сделал Бурин этот вывод.

— А ты можешь ручаться, что сам в животное не обратишься? Ты в плену. Тут всякие идеи теряются. Только мысль о калориях остается. За калориии один другого убить готов.

— Ну, я не думаю, что это ко всем относится. Ведь я слышал, что большинство «стариков» с голоду перемерло, а не слышал, чтобы все крали.

— Во-первых, красть было нечего, во-вторых, откуда ты знаешь, что не крали?

Бурин вспомнил, что ему советовали не оставлять без присмотра барахло, не то сопрут, и сказал:

— Конечно, я ни за что не могу ручаться, но думаю, что если даже и крали друг у друга, то, по крайней мере, не доносили.

— Ну ладно, хватит философией заниматься. Пойдем ножи точить.

— Куда?

— В казарму. Там пол цементный. Точит как брусок. Садись на пол и три. Через несколько дней нож будет готов. Тут все равно время девать некуда.

Бурин так увлекся изготовлением ножа, что не заметил, как принесли хлеб. Только когда все засуетились и стали сбиваться в группки, увидел это и встал с пола. Разыскал свою группу, когда черный хлеб уже резали на куски. Делалось это очень тщательно, куски были уже почти одновесные и Бурин готовился к «раскрикиванию», но делящий хлеб вытащил из своего вещевого мешка «весы» — палочку с веревочкой посередине и двумя веревочками по концам, к которым были прикреплены заостренные палочки. Стал накалывать порции на эти палочки и выравнивать их, до тех пор, пока уравновесились. Когда все порции были развешены, Бурин подумал: «Ну, теперь и раскрикивать нечего. Все равно порции одинаковые».

— Чья сегодня очередь раскрикивать? — спросил деливший хлеб.

— Моя и Седова, — ответил высокий пленный.

Он стал лицом к порциям, а Седов спиной к нему. Указывая пальцем на порцию высокий закричал:

— Кому?

— Селезневу, — ответил Седов.

— Кому?

— Бурину.

Бурин отщипнул от своей порции кусочек и попробовал. Хлеб был настоящий. Это очень обрадовало. Отщипнув еще кусочек, съел с удовольствием.

Стали строиться на обед. Бурин стал на свое место в группе. Пошли к кухне. Идя вспомнил, в какие невероятные посудины получали баланду пленные в Житомире и посмотрел, какую посуду имели пленные здесь. Увидел, что далеко не все имели, как он, котелки. У многих в руках были различные банки с привязанными к ним, вместо дужек, веревочками. Позже Бурин узнал, что такие посудины назывались в лагере «парашами». Пищу выдавали из окошек кухни, возле них не было полицаев. За порядком следили командиры групп.

Повара из окошек наливали в подставляемую посуду баланду черпаками, сделанными из литровых консервных банок.

— А здесь повара тоже, как в Житомире, вдавливают донышки? — спросил Бурин стоящего рядом «старика.

— Нет. Здесь не вдавливают. Здесь комсостав. Если и сопрут, то по-комсоставски.

Получив свою порцию Бурин посмотрел в котелок.

— От такого супа, — сказал он соседу, — скоро ноги вытянешь.

— От какого супа? Это не суп, а баланда. Будь и ей рад. Ешь хлеб, если остался, и запивай ею.

— Как это «ешь хлеб»? Он на весь день выдан.

— Вот именно — на весь день. Что съешь, — в желудке будет. А оставишь и не уследишь — сопрут.

Бурин согласился и съел хлеб.

— Товарищи! — услышал он. — Да не вылизывайте

параши. Все равно от этого не растостееете. А от облизывания грязных пальцев заболеете.

Посмотрел в сторону говорившего, увидел старшего группы Смирнова, человека средних лет, худого, с коричневой кожей. «Явно 'старик' — подумал Бурин. — А вот, видно, не потерял еще человеческое достоинство. Значит, не все в плену в животных обращаются».

Выгребавшие пальцами из параш остатки баланды прекратили это занятие, смущенно, не глядя на Смирнова, стали прятать свои параши в вещевые мешки. Только один продолжал скрести пальцем в параше и облизывать его.

— Товарищ Павлов, — обратился к нему Смирнов, что вы выгадываете этим облизыванием? Бросьте!

— Нельзя калории оставлять. В них жизнь, — оттил тот.

«На такого уже убеждения не действуют, — подумал Бурин. — Такой уже только о калориях думает». А Павлов, вдруг, смущенно улыбнулся, спрятал парашу и сказал:

— Конечно, лучше не вылизывать, товарищ Смирнов. Но жить хочется . . .

— Ладно, не оправдывайся, — перебил Смирнов. — Я тоже лизал, пока не понял, что этим убиваю в себе последние остатки человеческого.

Смирнов заинтересовал Бурина. «Ведь вот сам уже коричневым стал, худой как жердь, а уговаривает людей не терять последнее человеческое», — подумал он. Подошел к Смирнову и негромко спросил:

— Почему вы уговариваете людей?

Смирнов повернулся к нему. Бурина поразили выразительные глаза его.

— Я боюсь . . . — начал Смирнов, замолчал, посмотрел вокруг и предложил: — Пойдемте во двор!

Подойдя к куче дров, Смирнов сел на полено и указал Бурину на другое. Бурин сел.

— Вот вы спросили, почему я уговариваю людей. Да я, правду сказать, не их уговариваю, а себя. Мне тоже хочется парашу вылизать. Да боюсь я . . .

— Чего боитесь?

— А вот этого озверения в плену. Тут человек постепенно, сам этого не замечая, падает. Впереди — неясность: выживешь или нет. Вот и хватается каждый, как за соломинку, за калории, хотя бы и воображаемые. Все стремления к этим калориям. Вы в плену недавно. Это сразу видно. Вы еще не потеряли способность думать по-человечески. А я боюсь ее потерять. Я уже начинаю ее терять. Это страшно! Понимаете вы?

— Понимаю.

— Еще понимаете. Но, смотрите, многие здесь уже не понимают. Вы присмотритесь к жизни лагеря, тогда увидите, с какой жестокой ясностью в ней отражается все скверное, что характеризует государство. Вернее, — не отражается, а выступает в концентрированном виде. То что в государстве прикрыто, — здесь явно.

— Какое же сходство имеет лагерная жизнь с государственной?

— Очень большое. Да, как я уже сказал, не только сходство, но — концентрацию. Государственная жизнь здесь видна в страшной пародии. В государстве деление на слои — ведущий, исполняющий, угнетенный и так далее. А здесь . . .

— Какие же слои здесь? — перебил Бурин.

— Здесь слои такие же, с той только разницей, что *там* — стремление одних к власти, — других к более или менее сносной жизни. А здесь одно стремление — сохранить физическую жизнь. Там правящая аристократия добивается хорошей жизни для себя, а здесь,

правда, нет правящей аристократии, — есть аристократия сохраняющая свои жизни за счет жизней других.

— Какая же здесь аристократия?

— А вот какая: повара — самая высокая. Они, — он вдруг замолчал и указал пальцем в сторону кухни. — Вот посмотрите на них.

Бурин посмотрел. Увидел: на скамейке, перед кухней сидит несколько человек в хорошей комсоставской форме.

— Вот видите, — продолжал Смирнов. — Одеты, будто в военном городке командиры. А за чей счет — за наш. В их руках главное — пища. За нее они все могут получить. Видите, сидят и курят. А кто здесь табак получает?

— Ну, хорошо. Повара — кухонные аристократы. Но какие же еще могут здесь быть?

— За поварами идут санитары . . .

— Санитары?! . . — опять прервал Смирнова изумленный Бурин.

— Да, санитары. Они — держат в руках человеческие жизни.

— Вы хотите, наверное, сказать — медперсонал?

— Не медперсонал, а именно санитары. Медперсонал голодный — «гнилые интеллигенты», а вот санитары, они материалисты. Во-первых пайком распоряжаются — себе выгадывают, — во-вторых, людей обирают. Попадет в лазарет человек имеющий что-нибудь ценное, хотя бы одежду хорошую, так они, если сам не отдаст, угробят его и наследством воспользуются. Это все знают.

— Ну?! — не поверил Бурин.

— Чего там «ну»?! Разденут, барахло на съестное обменяют и . . . живут. А кто здесь допытываться станет,

отчего умер человек: от болезни или уморили его? Тут человеческая жизнь копейки не стоит.

— А врачи? Неужели они . . .

— Врачи, я уже сказал, — «гнилые интеллигенты». Они, из-за этого, ничего с санитарами поделать не могут, и сами не лучше нас живут.

За санитарами идут майоры. Они, как старшие, привилегию имеют: во-первых им пищу получше приносят, во-вторых, от поваров подачки получают.

— Какие же они подачки получают?

— Они, собственно говоря, и подачки, и взятки получают. Подачки за то, что они — майоры, а взятки — за другое.

— За что же, другое?

— А они глаза на все закрывают, «не видят», что повара, за пищу всякую всячину выменивают, а это, потом, через работающих вне лагеря, опять на пищу меняют, только уже не для нас, а для себя. Они себе отдельно варят. Может быть и майорам иногда перепадает, даже наверно перепадает. Повара, они сытые. У них даже мясо бывает. Откуда они его достают, это их секрет, но что достают, это я знаю.

— А откуда вы это знаете?

— Это все знают. Да, кроме того, я и сам на себе это проверил.

— Как это «проверил?

— Да так, что один раз от поноса чуть не умер. Однажды мне, в нашей-то баланде, попался кусок говяжьего жира. Я его тайком, чтобы не видели другие, съел. Казалось, что во рту мягче стало. Потом раздумывал: откуда мог попасть в баланду кусок жира. Ведь нам — не полагается. Потом решил, что повара для себя мясо варили. Вот и проглядели, что кусок жира в баланду попал. Согласитесь, что другого быть не могло.

— О каком поносе вы говорили?

— Ах, забыл сказать. После того, как съел жир, на меня такой понос напал, что не дай Бог! Чуть не умер. Все боялся в лазарет попасть — из-за санитаров. Оно, видно, на истощенный желудок жир как слабительное подействовал. Ну, хватит об этом. Лучше раскажу о других слоях и прослойках в лагере. За аристократами идет рабочая аристократия: все работающие на прибыльных работах. Это, в первую очередь, могильщики, потом рабочие на кухне, в особенности — на немецкой, за ними идут купцы, ремесленники и так далее. И, наконец, остальные — простой народ.

— Что же за прибыль имеют могильщики, например?

— А они мертвых из лагеря вывозят.

— Ну и что же за прибыль от мертвых?!

— От мертвых — никакой. А вот от их барахла. Они, могильщики, мертвых-то раздевают. В могилы голыми бросают. А на барахло у населения всякую всячину выменивают. Вот и живут припеваючи.

— Ну, а другая рабочая аристократия?

— Другие — всякий по своей возможности. Кто на немецкой кухне работает, во-первых, сам подъедает, и, во-вторых, с кухни, что может, тянет.

— Что ж немцы, не видят этого, что ли?

— Да тянут они такое, что немцам не нужно. Например, картофельные очистки, или лезвия для бритв.

— Ну, очистки — это еще, может быть, съедобное. А бритвенные лезвия? Да и откуда они на кухне?!

— Очистки, не «может быть», а съедобные. За каску очисток полпайка хлеба дают. А что касается лезвий, так их выбрасывает, после бритья, немецкий кухонный персонал. Вы обратили внимание, что все в лагере бритые. Все этими старыми лезвиями бреются. А

даром их никто не даст. Вот и зарабатывают на них и кухонные рабочие и купцы.

— Ага! Вот вспомнили про купцов. Расскажите о них, а заодно, и о ремесленниках.

— Купцы скупают все, что могут. Потом продают на рынке. Вы присмотритесь, какая торговля тут идет. Иногда такая толкучка собирается, что немцы пугаются, думают что восстание готовится. Пулеметами с комендатуры угрожают и разгоняют. Вот купцы, как я уже сказал, скупают все, да не только у рабочих, а и у ремесленников. Ремесленники изготовляют всякую всячину. Один из кусков шинели туфли шьет, другой ножи делает, третий еще что-нибудь, на что спрос есть. А сами продавать не умеют. Купцам сдают. Разве не государство в миниатюре . . . и в жестокой концентрации?

— Да, действительно, своеобразное государство. Но вы сказали о рабочей аристократии. Разве есть и просто рабочие? Я слышал, что здесь работать не заставляют.

— Конечно не заставляют. Голод заставляет. Добровольно идут. И, в основном, на работу внутри лагеря. А работающим по двести грамм хлеба дают.

— Какие же работы внутри лагеря?

— Да разные. Например, дорожки подправлять, камни возить, да еще — уборные в порядке держать.

— Ну, на эту работу, наверное, мало охотников.

— Ошибаетесь. Как раз на эту работу охотников много, потому что спокойная и легкая. Только на нее вы не попадете.

— Почему?

— Она — монополия майоров. Посмотрите в уборные. В каждой, по очереди, майор сидит. И делать ему нечего, только за порядком наблюдает, и паек прибав-

ляется. А немцы считают, что майоры, как старшие, лучше могут порядок поддерживать.

— Вы рассказываете о таком, что мне страшно делается. Но раз немцы хотят поддержания порядка, значит они вникают в жизнь лагеря.

— Да, вникают. Только не в жизнь, а в смерть.

— Почему «в смерть»?

— Они, немцы, все к тому ведут, чтобы нас побольше вымерло. Вы вот посмотрите. В лагере деревья стоят голые, без листьев, как зимой. Мы все листья съели.

— Ну от листьев не растолстеешь!

— Конечно не растолстеешь. Но от цынги можно спастись. Она нас вот как косила.

— Зачем же листья? Ведь рядом сосновый бор.

— Вы до сих пор не понимаете, чего хотят немцы. Я же вам сказал, что они хотят нас уморить. Врачи пробовали просить у немцев разрешения привезти хвои и давать людям отвар. Не позволили немцы. А пищу дают, вы уже пробовали ее, безвитаминную. Только для пропаганды стоит: кофе, два раза суп и 500 грам хлеба. Чтобы все выглядело прилично. Говорят, есть какое-то соглашение о пленных. Вот немцы и показывают, что в лагере жизнь хорошая. Вы посмотрите: дорожки щебнем усыпаны, ведут к клубу. Возле клуба цветы. В клубе аристократия в шахматы играет, по вечерам танцы устраивает. Правда — до захода солнца. А может быть, для высокой аристократии, и позже. Этого мы, запертые в казарме, видеть не можем.

— Да, — подтвердил Бурин, — мы видеть не можем, да и многого, вероятно, видеть тоже не можем. Я, например, не верю, что немцы хотят нас уничтожить. Вероятно, — это действия отдельных лиц. Не может быть, чтобы весь народ был зверем!

— Конечно народ не может быть зверем. Но толь-

ко тогда, если им не руководят звери. А если руководят звери, то все возможно. Да и трудно народ понять. Я, например, кадровый командир. Жил армейской жизнью. Казалось, — все в порядке. Армия бережет страну от нападения капиталистов, народ любит свою армию, люди соревнуются — в армии за достижения в боевой подготовке, в народе — за достижения производственных успехов. Когда началась война, мы, кадровые, бились с немцами. Кидались на их танки с криком «За родину! За Сталина!» И, в большинстве, погибли. Я сам был ранен и попал в тыл. В госпитале все ждал выздоровления, чтобы опять биться с врагом. Наконец, с маршевой ротой, попал опять на фронт. И что увидел? Народ — бойцы из резерва — сдавался в плен. «Кругом измена, — говорили политработники, — враги народа бьют нас ножом в спину». Тут, впервые, у меня появилось сомнение: так ли любит народ Сталина, как я до тех пор думал? Потом, слыша о массовых изменах, стал думать: «Ленин говорил, что в России три процента кулаков. Но их давно уже раскулачили. Откуда же столько врагов, столько изменников? Не может их быть так много в стране счастья, в стране рабочих и крестьян. Значит, если массами сдаются в плен, — много трусов. Но не может народ, героически бившийся за лучшее светлое будущее, вдруг стать народом состоящим из одних трусов. Значит, он не хочет биться за Сталина, значит, народ недоволен своей властью». Такие рассуждения привели к тому, что я, попав в окружение, не смог пойти на прорыв с криком «За родину! За Сталина!» Я, вместе с бойцами, поднял руки вверх. Но, может быть, если бы я знал, что ожидает в плену, я бы этого не сделал.

Бурин рассказал Смирнову, о том, как и почему он сам попал в плен. Рассказал о жизни людей вне армии.

— Да, — сказал Смирнов. — Я понимаю вас. Но и вы, я думаю, если бы знали о «прелестях» плена, не перешли бы.

— Я же вам уже сказал, что не верю, будто немцы, сознательно, плохо относятся к пленным. Я думаю, что тут какое-то недоразумение. Я надеюсь, что мы все-таки получим от них оружие для освобождения нашей родины. Ведь немцы не дураки. Они должны понять, что могучий русский народ нельзя победить, но можно с честью закончить войну, пойдя на союз с ним. Я уверен, что, когда мы получим оружие, народ с *той* стороны с нами воевать не будет. Бойцы будут переходить к нам и мы без выстрела пойдем вперед, нарастая как снежный ком.

— А немцы?

— Немцы должны будут остановиться на определенной линии. Мы, с народом, сами справимся.

— Но чем же, в этом случае, будут заинтересованы немцы?

— Да очень просто! Они не будут вынуждены держать много войск на Восточном фронте. Перебросят силы на другие фронты. Мы им будем платить, за помощь оружием, всем, чем страна богата. А после нашей победы, отблагодарим еще. Разве могут немцы не понять насколько это для них выгодно?

— Немцы могут. За них думает фюрер. А как он думает, я вижу по плену.

— За нас, *там*, тоже думает «родной и любимый», а народ, все же поступает по-своему.

— Тут — большая разница. Русские всегда стремились к справедливости. Искали и ищут ее; а немцы — «гебот и фербот» народ. Я в их способность самостоятельно думать и действовать не верю.

— А я верю, — уже потому, что немцы народ практичный. Рано или поздно они поймут, что выгоднее.

— Хорошо, если это не будет, как раз, поздно. Я в немцев не верю, — и прислушался. Потом сказал: — Я думаю, пора опять баланду получать. Уже зашевелились. Пойдемте.

Получив и съев баланду, Бурин нашел наиболее шершавое место цемента пола, уселся на нем и принялся вытачивать из пластинки нож. Не заметил, как подошло время получать кофе. Неохотно пошел за ним, получил и, принеся в казарму, раздумывал — пить или вылить эту коричневую воду. «Нет, все-таки лучше выпить. В этой воде что-то варилось, значить есть какие-то калории». Выпил и подумал. «Вот и я начинаю о калориях думать. Видимо, это неминуемо».

Пока стемнело сидел на полу и тер о цемент свою стальную пластинку. Смотрел на результат работы и видел, что понемногу пластинка начинает заостряться. Потом, когда закрыли дверь и зажгли свет, бродил по проходу между нарами. Заглянул в клозет, увидел сидящего там на стуле майора с нашитыми на петлицах «шпалами» из красной материи, и выйдя оттуда спросил первого попавшемуся ему на пути «старика»:

— Почему тут только майоры носят на петлицах знаки различия?

— Потому, что это им приказали немцы.

— Почему?

— Потому, что без знаков различия их нельзя, тому кто их не знает лично, отличить от других.

— А чего им отличаться. Что их гордость, что ли заедает?

— Тут гордость не при чем. Без знаков различия они могут вместе с другими выйти утром на работу. А потом бежать.

— Разве только майоры могут бежать?

— Может быть и не только майоры, но они уже раз устроили побег. С тех пор им и приказали иметь знаки различия — чтобы на работу за лагерь не попадали.

— А как можно попасть на работу?

— Нужно утром, после зарядки, пойти в угол двора, правее комендатуры — там строятся на работу.

Бурин решил попробовать завтра получить работу. С этой мыслью он и заснул.

После зарядки Бурин пошел в указанный ему вчера угол двора. Там уже стали собираться пленные. Он попробовал узнать как и куда лучше попасть на работу, но заметил, что отвечают неохотно, будто боятся конкуренции. Так, ничего толком не узнав, он простоял пока из ворот комендатуры вышли несколько немецких солдат с винтовками и разойдясь один от другого на несколько шагов остановились. Немедленно к ним бросились желающие работать пленные и образовали сзади каждого из них группы. Бурин не знал, к какому немцу идти и стоял, вместе с полдюжиной, вероятно так же не знавших куда идти, пленных. Два солдата, возле которых никого не было, стали призывно махать руками. Бурин, с другими, пошел к ним. Солдаты, жестами приказали идти за ними. Подвели к стоявшим в углу двора зеленым советским двуколкам. Бурин увидел, что к двуколкам привязаны какие-то лямки из парусины. Солдаты закричали что-то. Никто не понял. Тогда они жестами показали, что нужно одеть лямки. Все стояли в нерешительности. Тогда солдаты, сняв с плеч винтовки с примкнутыми штыками, отделили ими трех человек и заставили их одеть лямки. Остальным указали место сзади тачанок. Немцы опять закричали что-то, и опять жестами показали, что передним надо тянуть, а задним подталкивать двуколку. Пустую двуколку

было нетрудно двигать, и Бурин, подталкивая ее, думал: «Вот, когда я видел в известиях фотографию пленных тянущих двуколку, я не поверил, а теперь, теперь сам у двуколки очутился...» Так раздумывая и сердясь на себя увидел, что немцы направляются к куче известковых камней. Остановились. Солдаты показали, что нужно грузить камни. Бурин с трудом поднял тяжелый серый камень, потащил его к двуколке. Едва успел положить на нее, услышал — немец что-то яростно кричит. Обернулся. Худой истощенный пленный пытается поднять камень и не может. Немец кричит на него. Пленный прекратил попытки и выпрямился. Немец взвизгнул, нацелился штыком в пленного и, у Бурина захватило дыхание, подкалывая штыком, заорал на пленного. Тот ухватился за камень. Солдат, молодой голубоглазый парень с гладко выбритым толстым лицом искаженным яростью, наставил штык в зад пленного. Тот понатужился, лицо посинело, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит и... поднял камень.

— Вот, гады, издеваются над людьми! — шепнул Бурину сосед. — Погрузим камни, перевезем на двадцать метров. Опять разгрузим — чтобы на завтра работа была.

— А вы откуда это знаете?

— Мне знакомый рассказывал, который уже был на этой работе. Да я ему, дурак, не поверил.

Второй немец, услышавши разговор, закричал, направился к Бурину, угрожая штыком. Бурин пошел к камням. Идя слышал, что немец ругается. Только одно, несколько раз повтореное, слово «швейн» понял он.

Когда двуколку нагрузили, немцы приказали впрячся в нее и указали направление. Протянули метров двадцать. Немцы остановили. Показали, что надо сгру-

жать. «Да, действительно, с места на место перетаскиваем, — подумал Бурин. — Как каторжники». Пустую двуколку опять подтащили к первой куче камней, и опять немцы приказали их грузить. Пленный, который не мог поднять камень в первый раз, надрывался от усилий. Бурин хотел ему помочь и уже взялся за его камень, но немец закричал и пригрозил штыком. Злясь и стыдясь, что испугался, Бурин оставил камень пленного, поднял и потащил другой. Слышал как кричит на пленного немец. Опять понял только, то и дело повторяемое, слово «швейн».

Злясь и чувствуя невероятную унизительность превращения себя в рабочее животное, Бурин таскал камни и двуколку несколько часов. Наконец, когда опять разгрузили двуколку, солдаты погнали с ней к воротам лагеря.

— Не пойду после обеда на такую работу, — шепнул Бурин соседу. — Будь она проклята!

— Твое счастье, что сегодня суббота, — также шепотом ответил тот. — В субботу до одиннадцати часов работают. А то пришлось бы без обеда целый день таскать, вместо лошадей.

После обеда Бурин сел на доску нижнего яруса нар. Рядом оказался смуглый от голода «старик». На его руке Бурин заметил плоское белое кольцо.

— Что это за кольцо у вас? — спросил он.

— Смертное.

— Как, смертное?!

— А вот, если загнусь, потом, когда немцев выгонят и разроют могилы, по кольцу опознают.

— Как же можно по кольцу опознать?

— На нем моя фамилия и адрес выгравированы.

— А где вы его достали?

— Да был тут один — делал кольцо за полпайка. Из гривенников.

— А где он сейчас?

— Загнулся. Весь заработок на табак менял. Теперь смертные кольца делать некому.

— Я такие кольца тоже делать могу.

— Можешь? Эй, Гришка! — крикнул «старик». — Вот новый мастер нашелся. Ты хотел кольцо заказать.

Со второго яруса нар выглянуло обтянутое коричневой кожей лицо, узкие синеватые, шелушащиеся как обветренные, губы зашевелились:

— Где этот мастер?

— А вот, рядом со мной.

Гришка посмотрел на Бурина и монотонно сказал:

— Можете мне сделать? Я дам гривенник и полпайки хлеба.

Так Бурин получил первый заказ.

Взяв гривенник, он принялся искать нужные инструменты. Возле кухни нашел болт и гайку. Положив гривенник на гайку и наставив на него сверху болт, ударяя по головке его камнем, вместо молотка, выбил в гривеннике дырку. Потом, надев гривенник на тот же болт, до тех пор обрабатывал его камнем, пока получилось плоское кольцо. Главная, самая трудная часть работы была сделана. Оставалось обточить кольцо и сделать гравировку. Первое Бурин решил сделать на цементе пола, а второе — при помощи уже почти готового ножа. Через два дня кольцо было готово и Бурин получил полпайка хлеба. Заказчиков оказалось много и Бурин вскоре обзавелся «настоящим» инструментом: куском напильника и узким самодельным ножом — для гравировки. Так он стал ремесленником. Теперь он уже чувствовал себя солидным человеком. Мог делать покупки. В первую очередь выменял обрезок, до кар-

манов, шинели и кусок сукна, тоже из шинели, из которого заказал себе туфли. Надев обновки, он почувствовал себя щеголем. Смущало несколько, что верхняя одежда была коричневой от грязи, а тельная рубашка — темно-серой.

Вдруг объявили: приказано сдать одежду в вошебойку. Бурин испугался: а вдруг пропадет — украдут. Но делать было нечего. Привели в угол двора, где лежали каски, приказали раздеться, связать барахло в узлы, привязать к ним дощечки с номерами, к этому времени Бурин уже имел такую, и сдать узлы в вошебойку. Часа полтора толклись голые люди возле вошебойки ожидая конца процедуры. Бурин рассматривал других и удивлялся, что у коричневых ноги похожи на палки. Только колени были огромными, непропорционально огромными, шишками. Глядя на свои белые мускулистые ноги Бурин почувствовал даже гордость: он не на палках ходит. Почувствовал и устыдился. «Как можно гордиться тем, что не стал подобен другим несчастным людям? — подумал он. — Не моя заслуга, что я оказался в плену позже их».

Наконец двери вошебойки открыли и стали выкидывать оттуда узлы. Бурин увидел свой, принялся развязывать горячий узел. Развязал и огорчился. Все стало еще коричневей, а рубашка сделалась черной и блестящей, как клеенка.

Одевшись Бурин пошел в казарму. Проходя мимо белой стены, отделяющей площадку, где стоял клуб, от двора, увидел красные выбоины. Сосчитал их. «Десять, — подумал он. — Четное число. И все вместе». И опять ему показалось, что кто-то здесь стрелял в цель.

Подошло время обеда. Построились и пошли к кухне. У кухни остановились, но, против обыкновения, окошки были закрыты. Простояли несколько минут.

Бурин скучал и удивлялся, почему не выдают обед.

Вдруг он увидел, что из ворот двора комендатуры вышли два солдата с винтовками, между ними пленный, а в нескольких шагах сзади немецкий офицер и переводчик. Группа двинулась по дорожке, ведущей к клубу. Подведя пленного к белой стене с выбоинами, солдаты поставили его спиной к ней и отошли на несколько шагов. Бурин смотрел и не понимал, что делается. В это время мимо него прошли два санитара с носилками, поднесли их к стене и поставили возле пленного. Офицер достал какую-то бумагу и стал читать на непонятном Бурину языке. Кончил. Вперед вышел переводчик и перевел:

— По решению немецкого суда майор Несмеянов, за побег и убийство немецкого солдата, приговорен к расстрелу.

Все кругом было так обычно, что смысл слов переводчика не сразу дошел до сознания Бурина. А когда дошел, он посмотрел на пленного у стены. Тот стоял неподвижно, немного неестественно прямо, словно прижимался к стене.

Офицер громко скомандовал. Солдаты подняли винтовки. Опять команда офицера, два сухих, почти слившихся в один, выстрела. Пленный обмяк, голова упала на грудь и он, не отделяясь от стены, мягко сполз вниз. Санитары быстро положили его на носилки и понесли. Когда проносили мимо Бурина, он увидел желтые, еще вздрагивающие пятки.

Тут только Бурин полностью осознал происшедшее.

Но это осознание не было таким, каким было бы до плена — ошеломляющим, заставляющим вибрировать от ужаса все существо, а — осознанием безысходности, обреченности, осознанием ужаса, ставшего обычностью.

Мелькнула мысль: «Теперь на стене двенадцать выбоин».

Офицер увел солдат. Окошки кухни открылись и . . . жизнь вошла в колею.

Съев Баланду Бурин думал: «Вот на моих глазах расстреляли человека, а у меня даже аппетит не испортился. Что это такое? — и дал себе ответ: — Да все в том, что я уже тоже чувствую себя мертвым. Я, кажется, умер в тот момент когда «кеттенхунде» взяли нас в плен. Он только мертвее нас. Вон на нарах лежит цынготный доходяга. Он рядом со мной и его тоже приговорили к смерти, только к медленной. И он знает это. Он уже мертвый живой». И вдруг, словно в ответ на мысли Бурина, доходяга сказал:

— Все равно один конец. Пойду траву рвать, — стал с трудом спускаться с нар.

— Не дури! — сказал сосед. — Знаешь же, к проволоке подходить запрещено. Убьют.

— Все равно, — вяло ответил доходяга и поплелся к выходу.

Никто его больше не удерживал. Никто даже не слез с нар. Бурин, из любопытства пошел за доходягой.

Выйдя во двор доходяга поплелся к колючей проволоке, за которой росла высокая и густая сурепа. Шел прямо к месту, где висела доска с надписью, что подходить к проволоке запрещено.

— Эй, ты! — крикнул ему стоявший неподалеку пленный. — Не подходи к проволоке, а то застрелят.

— Все равно пропадать, — монотонно ответил доходяга. — А может быть и не заметят.

Лег на землю у самой проволоки. Бурин невольно посмотрел на вышку с пулеметом. Там никакого движения.

Доходяга протянул руку за проволоку, схватил в горсть сурепу. С вышки затрещал пулемет. Доходяга, не выпуская из руки сурепу, вздрогнул и перевернулся на спину. Лежал неподвижно с закрытыми глазами и с сурепой в руке. Только тяжелое дыхание показывало, что он еще жив.

С вышки спустился солдат. Направился к доходяге, расстегивая на ходу черную кобуру пистолета. Подошел. Наставил пистолет на голову доходяги. Сухо щелкнул выстрел. Доходяга весь дернулся и затих. Солдат, с довольным лицом, ткнул пистолет в кобуру и, теперь уже застегивая ее, направился к вышке.

Из находящегося рядом лазарета спешили санитары с носилками.

Вечером Бурин бродил по проходу между нарами. Вдруг почувствовал: пахнет чем-то вкусным. Будто жарят оладьи. Попытался определить откуда идет запах и пошел туда. Шел и думал, что это ему только показалось, — кто может, здесь, жарить оладьи? Но запах усиливался. Бурин увидел: на первом ярусе нар возятся люди, мерцает какой-то огонек. Он остановился в нескольких шагах. Присмотрелся. На чем-то похожем на керосинку, действительно что-то жарили. Возле керосинки собрались молодые, на удивление здоровые и, по пленным понятиям, очень хорошо одетые люди. Жарящий снял со сковородки аппетитный оладий, положил на бумагу рядом с собой и сказал:

— Мишка, доставай мармелад. Сейчас все будет готово.

«Что я, сплю что ли? — подумал Бурин. — Здесь, в плену, и вдруг мармелад! Откуда?»

Крепкий здоровый парень на четвереньках полез в дальний угол нар, покопался там и, также на четвереньках вылез оттуда, держа в руках консерную бан-

ку. Поставил ее на край нар. Вокруг банки разместилось несколько человек. Жарящий подвинул к ним лист бумаги с готовыми оладьями и . . . Бурин глазам не верил, — налил из бутылки на сковороду постное масло и стал класть туда куски теста.

— Ну, пусть новая порция жарится, — сказал он. — А, пока, будем есть.

Он и сидящие возле друзья, принялись ложками доставать из банки мармелад и мазать им оладьи. Бурину все еще не верилось, что все это происходит здесь, где всего несколько часов тому назад был, при попытке нарвать травы чтобы не умереть от цынги, застрелен доходяга. А здоровые парни, весело переговариваясь жевали оладьи. Бурин посмотрел на второй ярус нар — над ними. Там тоже лежали доходяги. Бурину показалось, что вот-вот эти доходяги кинутся на здоровых, поедающих оладьи, вырвут их у них . . . Но на верхних нарах не шевелились. Невольно пошел вперед.

— Эй ты! — крикнул один из пирующих. — Не мылься — бриться не будешь! Катись отсюда колбаской!

Бурин не сразу понял, что этот отклик относится к нему, и только когда увидел, что компания смотрит в его сторону, остановился.

— Слышал, что я сказал? — со злостью сказал окрикнувший. — Марш отсюда!

Бурин растерялся и не знал, что ответить. В это время кричавший встал. Кто-то взял Бурина за руку и потянул. Бурин оглянулся. Сзади него был Смирнов.

— Уйдите отсюда, — негромко сказал он, не выпуская руку Бурина. — Уйдите, а то . . . — он потянул сильнее.

Бурин пошел за ним. Когда уже ушли в другой конец казамы, Смирнов сказал:

— К таким, когда они наслаждаются жратвой, лучше не подходить. А то они и прибить могут.

— Что это за люди?

— Это могильщики. Тоже аристократия. Каждый раз, когда у них работа была, пируют. А сегодня у них такой день.

Бурин вспомнил, что говорил ему Смирнов о разной лагерной аристократии и подумал: «Вот они, наверное, проедают барахло майора и доходяги. И, может быть, радуются, что немцы их убили. Действительно звереют люди!» И будто продолжая его мысли Смирнов сказал:

— Вот они сегодня бросили в могилу покойников голыми. Им не впервой — привыкли. А ведь тоже были когда-то обычными людьми. Может быть, даже наверное, были хорошими ребятами. А теперь? Теперь хорошие только для себя. До других им дела нет. Нет дела, до того, что кругом голодные — даже доходяги. Они, эти могильщики, гонят других прочь: защищают свое «право» на лучшую жизнь. Животная борьба за существование.

Смирнов, замолчал. Посмотрел на Бурина и добавил:

— Вот таким стать я боюсь. И боюсь тем более, что не уверен в себе. Может быть, если бы и я оказался в их компании, я бы стал действовать, как они. Вот это — самое страшное.

— Я не верю, что вы могли бы стать таким! Вы до сих пор думаете по-человечески.

— По-человечески? А что это значит: по-человечески? Человек — животное умеющее думать. А думает это животное по-разному — в зависимости от обстановки. Общественное бытие определяет сознание. Вот, например вы и я. Дома мы думали каждый по-своему,

но в общем одинаково, а тут ... — он замолчал, будто ища подходящее слово.

— И тут мы думаем, вероятно, в общем одинаково, — вставил, воспользовавшись паузой, Бурин.

— Вот это и страшно, что мы тут думаем, в общем одинаково.

— Что же тут страшного? Это хорошо.

— А вы подумайте, *как* мы тут «в общем одинаково» думаем. Сегодня, после расстрела майора и убийства доходяги, я об них мало думал: калории отвлекли. Но я сам почти доходяга, а вы? Думали ли вы об этих людях, об их смерти, об их муках?

Бурин со стыдом сознался, что тоже мало о них думал, вернее не только мало, но и как-то отвлеченно, как о чем-то неотвратимом.

— Вот видите, как быстро начинает человек думать, как человек с маленькой буквы. Видите, как быстро общественное бытие определяет сознание? А наше «общественное» бытие очень и очень плохое. Вот и сознание становится тоже таким.

— Да. Но мне кажется, что Я умер, когда попал в плен, а существует какой-то остаток от этого Я. И этот остаток, это маленькое я ...

— Вот именно, — перебил Смирнов, — большое Я умерло, осталось только маленькое я, и оно стремится жить. А не страшно ли это — потерять свое Я? Признать себя каким-то остатком? Ведь если пойти по этому пути, может кончится тем, что и маленькое я превратится не в маленькое, а в ничтожное. Я думаю, что ваше «кажется, что Я умер» не отражает действительность, а только — результат сравнения вашего прежнего Я с теперешним я. А если вы можете еще сравнивать — значит ваше маленькое я еще стремится к большому.

— Может быть это и так. Но все же...

— Все же, — опять перебил Смирнов, — все же мы люди и человеки, а потому пойдем спать. А то дофилософствуемся до сумасшедствия, — и он решительно пошел к своему месту на нарах.

На другой день, после раздачи кофе, Бурин проходил возле нар, где собралось человек двадцать недавно попавших в плен молодых лейтенантов и услышал:

— Вот, Витька, вместо этого кофия да выпить бы домашнее, с молоком и с белым хлебом.

Бурин остановился. Услышал ответ Витьки:

— Да, с молоком и белым хлебом — шикарно... только надо говорить не «кофия», а «кофею».

— И не «кофею», а «кофию», — вмешался третий.

Завязался спор. Бурин подошел и сказал:

— Ребята, все ваши варианты неправильны. Нет слова «кофей» или «кофий», а есть только — «кофе».

Хотел объяснить, почему так, но спорщики повернулись к нему и один из них, с невыразимым презрением на лице, изрек:

— Так ты что — один лучше нас всех знаешь?! Катись отсюда. Без учителей обойдемся.

«Вот это я получил за то, — думал уходя Бурин, — что забыл об особенности людей в плену: они не стоят тут на вполне определенных ступенях общественной лестницы, не знают и не хотят знать свое место на ней. Здесь официальные грани исчезли. Дома я был преподавателем и вот такие парни, когда знали это, считались с моим мнением. Здесь я ничто и, конечно, не смею знать 'больше их всех'».

Бродя по двору Бурин увидел, что во двор ввезли дрова и выгружают их. В это время к нему подошел Смирнов и сказал:

— Вот сало привезли.

— Какое сало? Я не вижу никакого сала.

— Сало знаменитое. А что не видите, так это от неопытности. Подождем пока подводы уедут и пойдем есть.

— Не понимаю, о чем вы говорите. Причем тут подводы и зачем ждать, пока они уедут?

— Ждать надо потому, что не разрешено к вольным людям подходить. Да вот они и уезжают. Пойдемте.

Подошли к дровам. Смирнов посмотрел на них и сказал:

— Сало хорошее, — и вдруг спросил: — А ножик у вас есть?

— Есть. Но зачем?

— Да сало резать.

— Что вы дурака валяете?! — рассердился Бурин. — Какое тут сало?

— Вот именно — какое? — Деревянное. А вы не сердитесь. Я вовсе не шучу.

И Смирнов объяснил, что если со свежих полен содрать кору, то нижня часть ее белая, как сало, и ее можно есть.

— Вот обдирайте это полено, — закончил он, — тут должно быть хорошее сало.

Бурин отодрал кусок коры, увидел нижний белый слой, отделил его и попробовал. Показалось что белая влажная масса имеет неплохой вкус. Подумал, что следует нарезать «сала» впрок, но в это время к дровам стали подходить другие пленные. Скоро все пригодные бревна были очищены от коры и делать запас было уже поздно. Выжевав свое «сало» Бурин сказал Смирнову:

— Это тоже некоторое разнообразие пищи, но я боюсь, что «сало» не имеет никакой питательности, и, может быть, вредное.

— Я тоже этого боюсь, но все же ем — самоутешение. А вы новость слышали?

— Какую?

— Да вот говорят, что в лагерь пшено привезли. Будут с ним баланду варить.

— Это было бы хорошо, да только . . .

— Что, только?

— Разговорам трудно верить. Вот говорят, что по четвергам в баланде колбасу варят, а я ни кусочка ее не видел. Так может быть и с пшеном — одна фантазия.

— Что касается баланды с колбасой — это не фантазия. В баланду по четвергам действительно колбасу кладут. Правда, колбасу из гречихи с кровью, но все же колбасу.

— А почему же я ни кусочка такой колбасы не видел?

— Да потому, что ее аристократия съедает. Нам не достается. Разве вы не видели, как майоры по четвергам на кухню паломничают, а оттуда каждый со свертком под мышкой марширует?

— Нет, не видел. Но ведь это же безобразие! Как же это другие допускают?! Ведь вы, например, видели, чего же молчали? Ведь они нас обкрадывают!

— Во-первых, установившиеся порядки лбом не прошибешь, а во-вторых, майоры старшие командиры.

— Ну и что ж, что старшие, тем более им стыдно нас обкрадывать?

— Да они нас, в общем, и не обкрадывают. Они только остатки берут, которые им, после настоящего обкрадывания поварами, по праву дают.

— Как — по праву?!

— Да так. Они, именно, майоры. А их товарищи, те которых расстреляли за побег, это право для них заработали. Да мы и не знаем, как их кормят. Может

быть им еще худшую, чем нам, пищу дают. Не зря же побег устроили!

— Ах, вы все еще, я вижу, идеалист. Они, может быть, потому и побег устроили, что были сытее вас. Голодные только о пище думают.

— Не совсем так. Это зависит от человека. Один только о пище, другой и об ином. Вот мы с вами, сейчас, тоже о другом думаем. Может быть и для них голод был только дополнительным унижением и бежали они не только от него, а именно от унижения. Ведь не один бежал, а тридцать. Тридцать майоров. А из других никто на это не решился. Вот в этом и заслуга майоров. И, наверное, немцы и сейчас боятся, что побег повторится. Недаром заставили майоров нашить на петлицы знаки различия. А как поймают бежавшего, везут сюда и при всех расстреливают. Не нас, трусов, а майоров, товарищи которых видят эти расстрелы и мучаются. Так пусть уж подачки колбасой получают. Бог с ними!

— А вы в Бога веруете?

— В обычном смысле — нет.

— Что значит: «в обычном смысле»?

— А вот, в Бога с бородой, всевидящего, всемилостивого. В такого Бога, в плену, трудно веровать. В чем мы можем видеть его милости? В баланде?

— А в «не обычном» смысле?

— Это вопрос, видимо, не нашего ума. Если есть, а Он может быть, какой-то Бог, то не такой, каким его представляют религиозники. Он может быть только чем то невероятно большим — в размере вселенной. И конечно мы Его себе и представить не можем, а Он — холодный неумолимый закон. Молись или не молись, а времена года будут чередоваться, будут рождаться и умирать люди, будут мучиться неповинные дети — все будет идти по закону, молись или не молись.

— А все-таки люди молятся.

— Молятся потому, что хочется верить в наличие доброго защитника. А где мы его видим. В чем его защита? При царе наши солдаты, перед атакой кричали: «С нами Бог!» и с верой в это шли на смерть. А в противоположных окопах, немецких, кричали: «Готт мит унс!» и тоже шли с этим на смерть. А с кем же мог быть этот Бог-Готт? — Наверное — ни с кем. Иначе Он не допустил бы это побоище.

— Да, это так, но один великий мыслитель, кажется Руссо, перед смертью сказал: «Если бы Бога не было, Его нужно было бы выдумать».

— Вот и выдумывают. Да что с того проку? Хотя, конечно, тому кто верует тепло на свете. А мне — холодно.

— Мне, правду сказать, тоже холодно. Но, смотрите, кажется начинают собираться на обед. Пойдемте.

При построении распространился слух, что сегодня дадут баланду с пшеном. Бурин слушал и радовался. Наконец пошли к кухне. Остановились у нее, но окошки опять не раскрывались. «Вот досада, — подумал Бурин. — Наверное опять расстрел-десерт будет». Подумал и сам себе удивился: как можно, из-за нетерпения получить баланду с пшеном, думать о возможном расстреле человека, как о досадной задержке? Но эта мысль была какая-то отвлеченная. Главное было — дадут ли баланду с пшеном.

Опять вывели майора, опять прочитали приговор суда. Опять треснули два выстрела и сполз на землю убитый человек. Опять протащили мимо носилки с человеком, голые ступни которого еще вдрагивали. И как только убитого унесли, сознание заполнила мысль: «Сейчас начнут давать баланду с пшеном».

Видел, что в котелки и параши наливают балан-

ду с чем-то желтым и радовался. Когда получил свою порцию, поглядел в котелок и огорчился. В нем была баланда не с пшеном, а с необлущенным просом. Придя в казарму и попробовав баланду убедился, что она такая же несоленая и безжирная, как и всегда. Ему почему-то казалось, что если баланда будет с пшеном, то также будет и с солью и с жиром. Огорочение усилилось тем, что проса было очень мало. К тому же он знал, что просо человеческий желудок переварить не может. «Вот, если это просо хорошо разжевать и высосать, то будет все равно, что и пшено», — подумал он и принялся тщательно жевать и высасывать. Просо шуршало во рту, хрустело на зубах, царапало язык и щеки. Он жевал и даже радовался, что просо можно долго разжевывать, можно продлить удовольствие. Другие уже давно проглотили баланду, а он все жевал.

Вскоре оказалось, что просо вызывает куриную слепоту. По вечерам многие пленные ничего не видели, ходили ощупывая нары и стены. Бурин радовался, что догадался разжевывать просо. Но радость превратилась в горе. Ночью он проснулся от боли во рту. Болел язык исцарапаный просом. К утру язык распух и уже не помещался во рту. Пришлось держать рот открытым. На языке образовался нарыв. Получив хлеб Бурин убедился, что есть его невозможно — невыносимо больно, да и не входят куски хлеба в рот. Решил дождаться до обеда и размочить хлеб в баланде. Когда шел получать обед язык распух настолько, что вылез изо рта, но все же, получив баланду, Бурин размял в ней хлеб, сделал что-то вроде каши и, кряхтя и охая от боли, высосал уголком рта эту кашу.

Так, с раскрытым ртом и вываленным из него огромным языком, просидел три дня. Наконец опухоль стала спадать и он смог закрыть рот. «Нет, — думал он, —

ну их к черту — калории! Не стану больше выжевывать!» — и тут же признался, что — будет. «От боли не умру, а от голода — наверняка», —оправдывал он себя. Но получив баланду увидел, что выжевыть не надо: в баланде было настоящее пшено — разваренное. Это обрадовало. Встретивши Смирнова, Бурин сказал:

— Вот видите, я вам говорил что не верю, будто немцы хотят нас уничтожить. Нашелся ведь кто-то, кто приказал облущить просо.

— Да, нашелся, когда почти все ослепли.

— Да, может быть, и не знали немцы, что просо не облущенное.

— Может быть. Все может быть. Только я в это «может быть» не верю.

***

Время шло. Бурин делал кольца, получал за них по полпорции хлеба, ходил на толкучку, смотрел как иногда, перед получением баланды, расстреливали пойманных майоров. Это стало уже обычным. Даже не считал сколько становилось красных выбоин на белой стене.

Опять, когда пришли к кухне, окошки не открываются. Опять чувство досады из-за вынужденного ожидания. Наконец привели майора, поставили к стене. Солдаты подняли винтовки. Бурин смотрел и ожидал, что сейчас выстрелят, майор упадет, его унесут и... начнут давать баланду. Но вдруг майор выпрямился, и по нервам ударило:

— Смерть Гитлеру!

Пленные у кухни вздрогнули. Солдаты опустили

винтовки. Бурину показалось, что майор у стены вырос.

Немецкий офицер истерично выкрикнул команду. Солдаты опять подняли винтовки. Человек у стены крикнул:

— Да здравствует Сталин! — и, вдруг обмякши, свалился на землю.

Выстрелов Бурин не слышал. Он видел и слышал только майора.

Пленные загудели. Немецкий офицер закричал уже на санитаров, очевидно приказывая им поторопиться. Солдаты повернулись лицами к гудящим пленным, держа винтовки на изготовку. Майора понесли. Когда носилки проносили мимо пленных, кто-то негромко подал команду «Смирно!» Строй повернулся в сторону майора и застыл.

Майора унесли. Пленные опять загудели. Бурин увидел, что переводчик подбегает к воротам комендатуры, а немецкий офицер и солдаты, пятясь двигаются туда же. Из окон комендатуры высунулись стволы пулеметов, пулеметы на вышках повернулись в сторону кухни.

Окошки кухни раскрылись, но никто к ним не подходил. Строй гудел.

— Товарищи! — крикнул стоящий у кухни полицай. — Товарищи! Посмотрите на комендатуру. Они там уже пулеметы выставили. Товарищи, будьте благоразумны!

Засуетились командиры рот. Команд не подавали — уговаривали. И пленные пошли к окошкам.

Получив баланду Бурин принес ее в казарму, но сразу есть не стал. Казарма гудела. Баланда стояла не тронутая на нарах.

— Вот это — человек! — говорил пленный недалеко

от Бурина. — За таким майором можно бы пойти на смерть. Настоящий советский человек.

— Может быть, он вовсе не советский, — неожиданно для себя сказал Бурин. — Может быть он просто волевой человек.

— Как не советский? — окрысился пленный. — Не слыхал, что ли, как он здравицу Сталину крикнул?

— Я только хотел сказать . . . — начал Бурин.

— Ты лучше заткнись! — злобно перебил пленный.

Бурин, видя что несколько пленных со злобой смотрят на него, замолчал и отошел в сторону.

К нему подошел Смирнов. Постояв немного молча, сказал:

— Зачем вы раздражаете их? Ведь они видят в нем героя.

— Я тоже вижу в нем героя.

— Так о чем же вы начали им говорить?

— Я хотел сказать, что майор, может быть, вовсе не хотел здравия Сталину.

— Но он же крикнул это.

— А что он мог другое крикнуть, чтобы оскорбить немцев? Они же воюют против Сталина.

— С этой точки зрения вы, может быть, правы.

— Не может быть, а прав. Думаете вы, что все в лагере сталинцы?

— Нет, не думаю.

— А почему же тогда, когда *его* проносили, все стали смирно? Понимаете, все!

— Это и меня удивляет.

— А удивляться-то нечему: сталинцы стали смирно отдавая честь герою сталинцу; другие сделали то же, потому что признали в нем Человека, кинувшего в лицо немцам самое сильное для них оскорбление. Он знал, что смысл его слов немцы поймут.

Постепенно, один за другим, пленные принялись за баланду. Съев свою, Бурин пошел к белой стене. Ему казалось, что свежие выбоины будут особенными, каким был человек, через тело которого прошли пули. Но все выбоины были одинаковы.

«Сегодня четверг, — проснувшись думал Бурин. — В баланде будут варить гречневую колбасу с кровью. Хоть колбасы нам и не достанется, но все-таки баланда будет наваристее». Эта мысль создала у него настроение подобное праздничному. После зарядки он решил погулять по двору. Вот, видит, у выложенной булыжниками канавы, по которой текут помои с немецкой кухни, стоит в напряженном ожидании человек. В руке он держит палку, как копье или острогу. Бурин подошел ближе. Человек не отрываясь смотрит на текущие в канаве помои. «Ни дать, ни взять — рыболов, — подумал Бурин, — рыболов в ожидании». Человек у канавы вдруг оживился, нацелился палкой и ткнул ею в помои. Вытянул ее, поднял концом вверх и Бурин увидел: на гвозде вбитом в конец палки висит картофельная очистка. Человек снял ее и с торжествующим видом спрятал в вещевой мешок. Опять принялся глядеть на текущие помои. Бурин подошел, постоял немного молча, разглядывая «рыболова». Потом сказал:

— «Ни пера, ни пуха!»

Человек с досадой посмотрел, будто его отвлекли от очень важного занятия, и ничего не ответил.

Бурин совершенно серьезно продолжал:

— Вы уже имели улов. Я видел. А что еще можно тут поймать?

— Иногда — много: очистки, даже куски картофеля. А раз я даже поймал . . . он вдруг замолчал и смущенно посмотрел на Бурина.

— Что вы поймали однажды?

— Да кусок мяса . . . Вам, наверное, смешно смотреть на меня, взрослого человека, за таким занятием.

— Вовсе не смешно. В плену каждое занятие хорошее, в особенности если оно добавок дает.

— Вот именно — добавок. Хоть маленький, а добавок. А, главное, — отвлекает. — Вы дома рыбу ловили?

— Ловил — когда не было охотничьего сезона.

— Ну вот, вы можете понять меня. Тут тоже жду. Дома ждал, когда рыба подплывет, а тут . . . Ах, прозевал! — вдруг крикнул он и кинулся вниз по течению помоев.

Бурин видел как он, догнав что-то, ударил своей острогой и вытащил опять очистку.

Не желая ему мешать Бурин пошел прочь. Увидел: к воротам двора гонят коричневую колонну пленных. Открыли ворота и колонна вошла во двор. «Новых пригнали. Интересно!» — подумал он и, зная, что к новым, до регистрации, подходить запрещено, стал наблюдать издали.

Колонну остановили посреди двора. Справа от нее поставили столы. К ним подошли переводчики, разложили на них какие-то бумаги и сели на стулья. Полицаи стали отсчитывать от колоны по пять рядов и направлять прибывшись к столам. Началась регистрация.

Новые, очевидно, были доставлены прямо с фронта, они были в шинелях и в сапогах. Почти у всех на вещевом мешке висел котелок. Параш не было. Прошедших регистрацию направляли к немцу командующему несколькими полицаями. Те забирали у имевших сапогии выдавали им, взамен, деревяшки. Когда и эта процедура закончилась, прибывших передали командирам лагерных рот и те увели людей в казармы. Пошел в

свою казаму и Бурин, в надежде узнать новости. В казарме распределяли новых по нарам. Бурин смотрел, как новые, получив места устраивались на них, вдруг один из них показался ему знакомым. Присмотрелся. «На кого он похож? — подумал Бурин. — На кого-то хорошо знакомого», и вдруг вспомнил: «Да он похож на Петьку. Только этот лысый и желтый, а Петька был кучерявый». Вдруг этот лысый и желтый посмотрел на него. Глаза были Петькины.

— Петька! — крикнул Бурин.

— Ванюшка! — отозвался тот и бросился к нему.

— Ты откуда?

— Из Николаева. А ты давно здесь?

— Уже давно.

Забыв про окружающих, забрасывали друг друга вопросами. Они были, дома, соседями. Вместе ходили гулять, ухаживали за барышнями. Оба были из «чуждых», хотя отец Петьки был простым человеком. Но вскоре разговор незаметно перешел на тему о пище.

— Как тут кормят? — спросил Петька.

— Два раза в день баланду дают, пятьсот грамм хлеба и кофе.

— А какую баланду дают? Густую?

— Нет, жидкую.

— Жидкую . . . Это плохо. У нас, в Николаеве, густую давали. Такую что ложка стояла. Комендант был хороший. Потому я и выжил. Тифом я заболел. Видишь, после тифа и волосы вылезли. А как стал поправляться, аппетит замучил.

— Это понятно. Меня удивляет, как это ты, после тифа, мог поправиться, хотя бы и на густой баланде.

— Да вот, поправился. Клеенка выручила.

— Как это могла тебя клеенка выручить?

— Да очень просто. Нашел я кусок клеенки и, смот-

ри, — Петька вывернул карман шинели, — сшил из нее эти карманы.

— Чем же тебе могли помочь карманы из клеенки? — не понимая сказал Бурин.

— Да я в них вторую порцию баланды получал, а иногда и по три отхватывал.

— Кто ж тебе в карманы баланду давал?

— В карманы никто не давал. Я получу в котелок, вылью в карман и опять пристроюсь сзади. Вот и выжил, как видишь.

Опять заговорили о прошлом и незаметно подошло время обеда. Бурин вспомнил про Петькины карманы и сказал:

— Пора на обед идти. Только я тебе советую здесь не лить баланду в карманы. Во-первых, она жидкая — вытечет, а во-вторых, — неловко.

— Ничего. Я ученый. И карманы не текут.

При раздаче баланды Петька оказался впереди Бурина. Свою шинель со спасающими карманами он накинул на плечи так, что клеенчатые карманы висели свободно. Подставил котелок, получил баланду, отошел. Получил баланду и Бурин. Идя в казаму увидел Петьку, пристроившегося к последним рядам.

После обеда друзья опять встретились.

— Знаешь, Петька, нашу встречу надо отпраздновать. Давай купим что-нибудь, когда базар начнется.

— Да у меня купилки нет.

— Ничего, у меня есть, — и Бурин расказал Петьке про свои заработки.

Как только зашевелился базар, Бурин повел Петьку туда. Прежде всего купил за 2 рубля закрутку из махорки и оба тут же выкурили ее, по очереди. Потом Бурин купил каску очисток — за полпайки хлеба, ложку соли — за 3 рубля и решил, что теперь можно гото-

вить праздничное угощение. В казаме было несколько печей для отопления, в которых пленные выжаривали из одежды насекомых. Для этой цели выломали дверцы и наложили в топки булыжников. В одной из таких печек, находящейся в пустом углу казармы, Бурин решил сварить суп. Вымыли очистки, залили их водой, посолили и поставили каску на булыжники. Бурин, оставив Петьку хранить очистки, пошел во двор и принес дров. Нащипал лучины, хотел зажечь, но не оказалось спичек. Побежал на базар и купил. Вскоре разгорелся под каской огонек. Чувствуя себя как на пикнике оба смотрели на огонь, подкладывали дрова. Наконец вода в каске запенилась и закипела. Подождав немного, решили, что суп готов. Осторожно сняли каску с огня, достали ложки и, обжигаясь, принялись хлебать зеленоватое варево.

— Ну и пахнет же! Прямо домашний суп! — сказал Петька. — Соленый . . . Роскошь!

Бурину тоже казалось, что такого вкусного супа он и дома не ел.

Съели все — до последней очистки — и с приятным ощущением сытости отправились на нары.

Вечером, когда закрыли двери, Бурин опять нашел Петьку и они пошли бродить по казарме. Зашли в уборную. Петька увидев сидевшего там на стуле майора с нашитыми на петлицы «шпалами» из материи, удивился и спросил:

— Чего тут этот майор сидит? Лучшего места не нашел, что ли?

— Он не сидит, а работает. За порядком наблюдает. За это двести грамм хлеба дополнительно получает.

— Здорово! А другие работы тут тоже есть?

— Есть.

— И за них тоже двести грамм дают?

— Дают.

— Здорово! Так я тоже пойду на работу.

— Нет, лучше не ходи, — и Бурин рассказал о том, как его запрягли в двуколку.

— Да-а, — протянул Петька. — Я читал об этих двуколках в «Правде», да подумал, что в «Правде» правды не бывает, — одна пропаганда.

На другой день, после зарядки, Бурин разыскал Петьку и, после разговоров о всякой всячине, спросил:

— А что ты думаешь делать дальше?

— Как, что делать дальше?

— Да так: ты, наверное, читал на фронте немецкие листовки-паспорта, в которых обещали дать оружие для борьбы со сталинским режимом. Вот, если, все-таки, я в это верю, дадут оружие, что ты будешь делать?

— Я мало их читал: опасно было. Да и в немецкие обещания я не верю.

— А все-таки, если они выполнят это обещание, что ты будешь делать?

— Ничего. Буду сидеть смирно и ждать конца войны. Так лучше.

— Так ты что ж, хочешь чтобы за тебя другие боролись?

— Ничего я не хочу. Я знаю, что немцы не победят. Значит и рисковать нечего.

— Немцы, конечно, не победят. Но мы, если получим оружие . . .

— Пойдем-ка отсюда, — вдруг перебил Петька.

— Почему?

Петько головой указал на подходящую к ним группу пленных. Бурина удивила Петькина осторожность, но он покорно пошел за ним. Когда никого поблизости не было, сказал:

— Ты что, по-старому всего боишься?

— Боюсь или не боюсь, а о таких вещах при посторонних говорить нельзя. Тебе что, своей головы не жалко, что-ли?

— При чем тут моя голова? Здесь нет НКВД, а пленные о жратве думают. Их бояться нечего.

— Может быть, большинство и о жратве думает, а есть и такие, что прислушиваются, разговоры запоминают, а может быть, и записывают, а потом . . .

— Что потом? — перебил Бурин.

— Потом, когда война кончится, обо всем доложат: смотрите, мол, какие мы честные пленные.

— Ну и пусть рассказывают. А мне что?

— Да то, что, если не расстреляют, — в лагерях замучат.

— Кто? Немцы?

— Да не немцы, а сталинцы.

— Сталинцы тут силы не имеют.

— Да не тут, а в СССР.

— СССР после войны не будет.

— А что будет?

— Новая Россия будет.

— Что ты немецкую пропаганду повторяешь! — рассердился Петька. — Немцы никогда не победят.

— Немцы, я уже раз это тебе сказал, не победят, а мы победим. За Сталина никто воевать не хочет.

— За Сталина — никто, а за свою шкуру — хотят. Уж очень сильно немцы под шкуру соли насыпали.

— Не думаю. Хуже жизни, чем при Сталине, быть не может.

— Ты где и когда попал в плен? — неожиданно спросил Петька.

— Да я, собственно, в плен не попадал: сам с бойцами к немцам перешел. А было это под Феодосией.

— Так чего же ты теперь в плену?

Бурин рассказал, обо всем, что с ним случилось на фронте, о том как его «взяли в плен «Кеттенхунде», и добавил:

— Я думаю, что тогда произошла ошибка.

— Никакой ошибки. Они, сволочи, одно обещают, а другое делают. Я тоже, сначала, как ты думал. Тоже хотел перейти, да случая не представлялось. А потом, когда увидел, как немцы с народом обращаются, уже переходить не захотел.

— Почему же я такого не видел?

— Да ты, ведь, на фронте недолго был, — это первое, а второе — ты был в Крыму, где татары. А вот побыл бы, как я, на Среднем участке, увидел бы.

— Ну хорошо. Ты переходить не захотел, но зачем же в плен пошел? . .

— Вот талдонишь: пошел, пошел! — перебил Петька. — Никуда я не пошел, и мои бойцы идти не хотели. Попали мы в окружение, выхода не было никакого, вот и оказались в плену.

— А я перешел, и горжусь этим. Как только представится возможность, возьму оружие и пойду на Сталина.

— Твое дело. Каждый по-своему с ума сходит.

— Я вовсе не схожу с ума. Но мне кажется, что это делаешь ты. Неужели ты не понимаешь, что если сейчас народ и готов биться с немцами, то если вместо немцев пойдем мы, в нашей форме, с нашими знаменами, он в нас стрелять не будет.

— А кто это даст тебе нашу форму и наши знамена? Немцы, что ли?

— Да, немцы. Не совершенные же они идиоты. Сам говоришь, что народ уже воюет против немцев. Что ж ты думаешь, немцы не поймут, что ли, что против всего нашего народа они воевать не могут. У них перед

глазами пример Наполеона. Тот тоже до Москвы дошел, даже взял ее, а как назад катился! Этого немцы не могут не понимать. Перед ними, теперь один выход: помочь нам и этим помочь себе. Выйти с почетом из тяжелого положения. И немцы народ практичный, пойдут на то, чтобы дать нам форму и оружие и позволить самим, действительно, освободить страну.

— Ну хорошо, допустим, что вы получите все от немцев. А потом что? — Пойдете в своих стрелять?

— В своих стрелять не придется. Свои, когда узнают, кто идет, узнают что свои идут, станут переходить к нам. Целыми полками переходить, дивизиями, корпусами . . .

— А заградиловцы, — перебил Петька, — будут сидеть сложа руки и ждать пока их перевешают?

— А много ли они добились, когда наши бойцы массами сдавались в плен? Против народа не попрешь?

— Брось ты свои бредни: народ, народ. Народ, что овца, куда погонят, туда и пойдет.

— Ошибаешься! В гражданскую войну белые попробовали гнать, а что получилось? — Овца-народ в волка обратилась. И сейчас то же будет.

— Ну, ладно. А немцы? Что если они, за вашими спинами всю Россию займут?

— Этого не случится.

— Почему?

— Да потому, что этот самый народ не допустит.

— Как же он не допустит?

— Да так, как не допустил французов. Перебьет немцев, как перебил французов.

— Твоими устами, да мед пить. У тебя все уж очень хорошо получается. Это все в теории, а на практике: «великий генералиссимус» поднимет пропаганду, объя-

вит вас гитлеровскими лакеями, а народ, боясь гитлеровцев, начнет стрелять и по ним, и по вам.

— Это может случиться только если немцы будут идти за нами. Если же они остановятся и мы одни пойдем вперед, то никакая сталинская пропаганда не будет страшна. А немцы обязательно остановятся. Они, как я уже сказал, народ практичный.

— За немцев думает фюрер. А, пока, он не показал особой способности толково думать . . . — Петька вдруг замолчал, посмотрел на Бурина и закончил: — Вот так с тобой договоришься до того, что и здесь расстреляют?

— За что расстреляют?

— Да вот за такие речи о фюрере.

— Да откуда они о них узнают?

— Если ты будешь со всеми так говорить, как со мной, кто-нибудь донесет.

— Да ты что? Ошалел, что ли? Как может русский донести о таком немцам?

— Шкурники на все способны. А шкурников, особенно в плену, достаточно. Ну, хватит. Пойдем лучше в казарму.

Придя в казарму Бурин хотел было заняться изготовление очередного смертного кольца, но разговор с Петькой огорчил его, мысли невольно возвращались к нему. «Вот, — думал он, — Петька настолько напуган, что всего боится. Он готов смирно сидеть, зарабатывать себе звание 'честного пленного', чтобы, после войны, не попасть под расправу. А он не трус, — уже хотя бы потому, что переливает баланду в свои клеенчатые карманы. За это могут до смерти забить, если попадется. Но, видимо, в этом случае, прямая сегодняшняя выгода забивает страх. А для решения пойти на открытую борьбу у него мужества не хватает. А что если и народ, в массе, думает как Петька? — Нет, не может этого

быть! Пусть Петьки отсиживаются. Я отсиживаться не буду. Если представится возможность, пойду с народом за народ. И, я уверен, что даже сегодняшние могильщики пойдут за мной. Пойдут уже потому, чтобы отмстить Сталину за позорный плен». Долго еще раздумывал так Бурин и не заметил, как подошло время обеда.

После обеда вышел во двор. Вдруг из комендатуры вышло несколько солдат с винтовками. Фельдфебель построил их и, в сопровождении переводчика, группа вошла во двор лагеря. «Что еще они затевают?» — подумал Бурин. Немцы направились к дому, где жили майоры. Вошли в него. Через некоторое время вышло несколько солдат. За ними с десяток майоров. Потом остальные солдаты и переводчик. Солдаты окружили майоров и погнали их к комендатуре. Возле комендатуры остановили. Во двор комендатуры въехала подвода. Солдаты погнали майоров к сараю. Загнали в него. Через минуту майоры вышли, неся каждый лопату. Положили лопаты на подводу. Солдаты опять окружили их. Подвода поехала к выходу. За ней погнали майоров.

Бурин видел все это и думал, что для майоров придумали какую-то особую работу. Подвода доехала до угла заграждений, повернула и поехала вдоль них, мимо вышек с пулеметами. За подводой — группа майоров под конвоем солдат. Вот их не стало видно за домом, где они жили. Потом, в просвете между их домом и лазаретом, они покались вновь. Опять не видно за лазаретом. Опять показались в просвете между лазаретом и казармой. Скрылись за казармой. Бурина интересовало, куда их гонят и он решил, что их можно опять увидеть из окна казамы. Пошел туда. Подошел к окну. Из окна было видно открытое поле. Вот на нем показалась подвода, за ней солдаты и майоры. Подвода ехала

от лагеря прочь — в поле. Возле Бурина собрались пленные. Все смотрели в окно. У других окон — тоже. Подвода, солдаты и майоры все больше удалялись. Наконец скрылись за горизонтом.

— Куда их погнали? — спросил Бурин стоявшего рядом с ним.

— Не знаю. Может быть на работу.

— Какой черт на работу! — сказал другой. — На расстрел погнали.

— Расстрелять могли и здесь. Зачем далеко гнать? — сказал третий. — Наверное, все же, на работу, или что-нибудь другое придумали.

— Я думаю, все-таки, что на работу, — сказал Бурин, — потому что лопаты взяли.

— Лопаты могут быть нужны и не для работы.

— А для чего ж еще?

— Чтобы могилу выкопать.

Так рассуждали у окон, то и дело поглядывая в них, пока на горизонте показалась подвода. Все замолчали и ждали ее приближения. Подвода стала видна яснее. За ней группа людей. Но как будто не такая большая, какой была. Еще ближе. Можно разглядет, что за подводой идут только солдаты.

— Вот, перестреляли и назад возвращаются, — сказал сосед.

— А, может быть, майоров кому-нибудь передали. А вовсе не расстреляли, — возразил Бурин.

— Хорошо, если так.

Подвода приблизилась. На нее что-то погружено. Но что, — разобрать еще нельзя. В ожидании все смотрят в окна. Наконец Бурин увидел: на подводе груда одежды, а сверху лопаты.

— Вот вам и работа! — сказал сосед. — Порабо-

тали в последний раз. Вместо добавки хлеба получили добавку свинцом.

К вечеру распространился слух: майоры, которых погнали в поле, были опознаны, как политработники; вот с ними немцы и расправились.

***

Пригнали новую партию пленных. Бурин опять наблюдал, как их регистрируют. Но теперь ему представилась возможность быть недалеко от одного стола — его, вместе с несколькими пленными, дали в помощь полицаям для выдачи деревяшек, так как новых было много и они все были в сапогах. Бурин выдавал деревяшки и прислушивался к ответам опрашиваемых. Скоро понял, что новые прямо с фронта. У некоторых на петлицах были еще знаки различия. К столу подошел молодой командир, в хорошей форме и с двумя кубиками на каждой петлице. И вдруг Бурин услышал его ответ:

— Политрук роты.

Бурину показалось, что человек с кубиками сам вынес себе приговор. «Если майоров-политработников расстреляли, — подумал он, — то и этого ждет то же». Ожидал, что вот сейчас политрука заберут и уведут. Но ничего подобного не случилось. Политрук пошел сдавать сапоги, получил деревяшки и, когда всех зарегистрировали, попал в казарму, где был Бурин.

Бурину хотелось поговорить с ним, но он стеснялся. Боялся, что проговорится о судьбе майоров-политработников. Заметил только, где дали политруку место на нарах. Когда закрыли двери, специально пошел туда. Посмотрел. Политрук спал на нарах.

На другой день Бурин все время ждал, что вот-вот придут и заберут политрука. Но того никто не трогал. На третий день — тоже. Бурин невольно то и дело подходил к политруку. Ничего не говорил, только незаметно к нему приглядывался. Это был типичный русский парень, с белокурыми волосами и симпатичным лицом. Перед вечером Бурин опять разыскал его. Он стоял возле лазарета и явно скучал. В это время появилась группа майоров. Впряглась в ассенизационную бочку и потянула ее к клозету — в лагере не было канализации. Бурин уже не раз видел, как майоры делают их единственную настоящую работу — чистят клозеты, в которых наблюдали за порядком. Ему это не казалось уже чем-то особенным. Майоры подтянули бочку ближе, поравнялись с политруком. Тот поглядел на них, сначала безразлично, потом вдруг встрепенулся, присмотрелся, увидел на петлицах нашитые «шпалы» и закричал:

— Что вы делаете, майоры?! Вы срамите и себя и всю армию!

Майоры молча, низко опустив головы, протянули бочку мимо.

— Нет, это немыслимо! — сказал политрук, и увидев рядом Бурина — к нему: — Кто их, майоров, заставил это делать?

— Никто. Здесь работать не заставляют.

— Эй вы, сволочи! — крикнул опять политрук, теперь уже вслед майорам. — Гавновозами сделались; продали командирскую честь!

— Вы напрасно на них кричите, — сказал Бурин. — Они, чтобы не умереть с голоду это делают.

— Все равно, от этого они не лучше. Шкурники!

— А вы, не шкурник? — рассердясь сказал Бурин. — Вы тоже жизнь сохранили — в плен сдались.

— Я?! — посмотрел политрук на Бурина. — Если я и шкурник, то не такой. Я до последнего бился. В плен попасть каждый может. На то война. Но в плену я, добровольно, бочек возить не стану.

Бурин посмотрел на него и подумал: «А, может быть, он и действительно не станет. Не побоялся же зарегистрироваться, как политрук». Подумал и отошел.

В казарме рассказал о политруке Смирнову. Тот выслушал и сказал:

— А знаете, я заметил, что немцы не трогают тех, кто не показывает страха. Наоборот, даже уважают таких. У немцев, особенно у офицеров, до сих пор не выветрилась прусская закваска: уважение к бесстрашному врагу и презрение к трусу. Я не удивлюсь, если этого политрука немцы не тронут.

И немцы, действительно, политрука не тронули. Он, правда, вскоре подравнялся с другими пленными в борьбе за калории, но сохранил свое достоинство. Бурину это нравилось.

Однажды он увидел, что политрук стоит один во дворе. Решил, что это удобный случай поговорить с ним и пошел к нему. Подошел и не знал, с чего начать. Политрук посмотрел на него и вдруг сказал:

— Скучаете?

— Нет. Я стараюсь отучить себя от этого. А то с ума сойдешь.

— А я — скучаю. Всё кругом тоску нагоняет. И, главное, ничего хорошего впереди не видно.

— А что хорошее вы до плена видели?

— До плена видел много хорошего. Вернее, верил, что много хорошего видел.

— Например?

— Например? — Примеров было много. Мой дед крепостным был, отец — мужиком. Жизнь была полу-

человеческая. Он погиб в борьбе за лучшую. Ушел к Красную армию и погиб. Меня в детдоме воспитали. Учили. Разве это не хорошее? Среднюю школу кончил, в институт попал. Стипендию получил — государство помогло. Разве это тоже не хорошее?

— Конечно — хорошее. А в каком институте вы учились?

— В педагогическом.

— Значит, — обрадовался Бурин, — мы коллеги! Я тоже в педагогическом учился. Только, я думаю, на разных факультатх.

— Почему вы это думаете?

— Потому что вы политруком стали. Значит, преподавали обществоведение.

— Правильно. А вы что преподавали?

— Математику. Беспартийную науку. А вы, наверное, да не только наверное, а обязательно партийцем были.

— Был. И это самое сейчас на меня тоску наводит. Боюсь, что именно «был».

— Значит, боитесь что перестаете, или перестали быть коммунистом?

— Нет, этого я не боюсь. Боюсь другого. Боюсь, что не доросли люди до него. Дома я видел всяких людей — партийных, беспартийных-коммунистов, просто беспартийных-обывателей, наконец — врагов. Но всегда верил, что последние — в меньшинстве, в постепенно исчезающем меньшинстве. Верил, что под руководством партии идет перевоспитание масс, что они понимают, что партия ведет их к светлому будущему . . .

— А теперь уже не верите?

— Почему — не верю? Конечно верю. Только здесь, в плену, в массы перестаю верить. Боюсь, что их никто не перевоспитает. Вот тут сливки общества — команд-

ный состав, — а что я вижу? — Только материальные интересы.

— Чему же вы удивляетесь? Ведь коммунизм — это, в первую очередь, материализм.

— Неправда! Коммунизм исходит из материальных предпосылок, но идея, идея высокая . . .

— Слишком высокая, — перебил Бурин.

— Вот-вот, этого-то я и боюсь. Потому и тоска нападает. Вера в людей пропадает. Ведь партия им лучшего желает, лучшего чем когда либо было в мире, а они . . .

— Они, просто люди! — опять перебил Бурин. — Они настоящие материалисты. Они живут сегодняшним днем: хотят сытыми быть, думать и говорить, что кому хочется, без страха жить . . .

— А разве партия этого не хочет, — перебил политрук. — Партия именно этого хочет. А они . . . Раньше я думал, что большинство — с партией, что оно готово бороться за идеи партии, что весь вопрос только во времени, а сейчас, видя, вот тут, в лагере, лучшую часть масс, начинаю сомневаться.

— А как вы думаете, что выше: христианство или коммунизм?

Политрук удивленно взглянул на Бурина и сказал:

— Странное сравнение! Христианство — одна из многих религий, а коммунизм . . .

— А коммунизм — тоже, — не дал договорить Бурин. — Разницы нет, в принципе, конечно, — и заметив, что политрук хочет перебить, спросил: — Разве вы никогда, не пытались сравнить?

— Нет, не пытался. Да и что сравнивать: религии обещают рай где-то в каком-то несуществующем загробном будущем, да и рай-то не для всех, а коммунизм . . .

— Обещает рай на земле, — вставил Бурин. — Но сущность одна — обещания. И, что самое главное, обещания рая, который не может существовать.

— Религиозный рай — конечно. Но этот рай, если вдуматься, вовсе и не рай. Это какая-то курьезная пародия на него. Я уже сказал, что в такой рай, если бы даже он был, попадут не все, а только некоторые избранные, а массы, для масс — ад. А коммунизм ведет всех, если не в рай, неясный и невозможный, то к совершенно понятному возможно лучшему будущему.

— Вот в этом-то, что он хочет вести *всех*, и есть доказательство невозможности осуществления коммунистического рая.

— Почему?

— На этот вопрос вы уже сами ответили. Вы сказали, что видите здесь, в лагере, что представители сливок общества, комсостав, заботятся каждый только о себе. Правильно?

— Конечно, правильно, но...

— Никаких «но»! Вы сказали тоже, что думали, что для осуществления идей коммунистов нужно только время. Сказали вы это?

— Сказал.

— А какая идея выше, христианская или коммунистическая?

— Конечно — коммунистическая.

— Вот именно. А христианская идея, просуществовала около двух тысяч лет и не только не завоевала весь мир, но даже на завоеванной территории ослабела. Сколько же времени потребуется для более высокой идеи? — Десять, сто тысяч лет, что ли?

— Во-первых, религиозные идеи беспредметны, потому что основывают всё на вере в загробное будущее, которое не существует; а коммунистические идеи осно-

ваны на реальных возможностях, не где-то, а тут, на земле.

— Христос сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя» — это относится не к загробному миру, а к самому земному. А коммунизм говорит то же, только другими словами. Коммунизм, в сущности, земная религия, но все же — религия. Верите вы в коммунизм.

— Верю.

— А вера начинается там, где кончается знание. Вера — это основной признак религии. Религии все возникали и, главное, воспринимались по мысли и желанию каждого верящего отдельного человека. Правильно это?

— Конечно правильно?

— И когда люди, по своему желанию, воспринимали религию, когда их к этому никто не принуждал, а, наоборот, христиан даже преследовали, христианство было наиболее сильным, а потом, когда начали принуждать быть христианами, когда даже появилась Великая Инквизиция, христианство стало официальной вынужденной религией, пошло на убыль. Согласны вы с этим?

— Согласен.

— А согласны вы с тем, что дома я с вами не мог бы так откровенно говорить?

— Пожалуй, — да.

— Ну вот, видите, коммунизм, пережил те же этапы, что и христианство. Сначала его воспринимали добровольно; потом, и очень скоро, он стал официальной религией, только вместо Инквизиции появились карательные органы. Начали палкой в рай загонять! И, как раз потому, что коммунизм — материализм, он наткнулся на гораздо большее сопротивление, чем Инквизиция. Она ведь не трогала жизненный уклад, пото-

му что стремилась к небу, а коммунисты стали перестраивать самое неприкосновенное — личную жизнь людей, их материальную жизнь.

— Ну, это ведь только на пользу. Я на себе проверил. При старом режиме был бы я полукрепостным.

— А я скажу больше: перестройка жизни людей по коммунистическому принципу не хороша, но совершенно идеальна.

— Ну так о чем же вы толкуете?

— О том, что всё идеальное неосуществимо для всех. Неосуществимо потому, что в идеальном обществе и люди должны быть идеальными; а такими они стать не могут. Нельзя ввести для каких-нибудь бушменов швейцарскую демократию. Они друг друга съедят.

— Но мы, ведь, не бушмены.

— Конечно — не бушмены, но, вы сами сказали, что недавно были полукрепостными. И нельзя думать, что из полукрепостных народ может сразу прыгнуть в состояние идеальных людей. Можно в это только верить, а, вы это признаёте, вера начинается там, где кончается знание. И если настоящие коммунисты верят в такую возможность, значит, коммунизм — это религия.

— Знаете, мне как-то никогда не приходилось думать об этом. Сейчас я начинаю с вами во многом соглашаться, но . . . хоть так, хоть иначе, но коммунизм — красивая идея.

— Лучше коммунистической, пока, идеи нет. Но это — в принципе. А на практике для современного человека нужно современное его мышлению правительство. Может быть, в сущности, плохое, но подходящее.

Политрук посмотрел на Бурина, будто желая что-то разгадать и спросил:

— А вы, вы верили когда-нибудь в идеи коммунизма, в его возможность?

— Верил. Но жизнь эту веру разрушила. Уж слишком много я видел горя людского, как раз из-за желания партии ввести коммунизм во что бы то ни стало и поскорей. Чем сильнее это желание, тем большее сопротивление, хотя бы пассивное, оно вызывает в людях и тем больше необходимо принуждение, а принуждение несовместимо со свободой.

— Нам с вами нужно было бы дома поменяться местами: мне быть математиком, а вам — обществоведом, — улыбнулся политрук.

— Тогда бы мы с вами никогда не смогли бы вот так говорить.

— Почему?

— Потому, что тогда бы мы никогда не попали в этот лагерь. Вы, может быть, и попали бы, а я никогда не попал бы.

— Почему? — опять спросил политрук.

— Я бы, за неверие, попал бы в исправительно-трудовой лагерь, а оттуда, наверное, — прямо в рай, в христианский.

— Да, в этом вы правы. Многие из моих однокурсников туда угодили, — политрук вдруг замолчал.

Бурин оглянулся. К ним подходило несколько пленных. Поняв, что политрук боится говорить «при посторонних», что в нем еще крепко сидит подсознательный страх попасть в категорию «врагов народа», Бурин переменил тему.

— А у вас нож есть? — спросил он.

Политрук удивленно взглянул и ответил:

— Нет, отобрали.

— А без ножа плохо. Хотите, я покажу, как можно нож сделать?

— Конечно хочу.

Бурин повел политрука к куче касок, по дороге объясняя, что и как нужно делать.

**
*

Вышли на зарядку. Как всегда, на ней Бурин скучал, но теперь уже не старался делать все упражнения так, чтобы не отличаться от «стариков». Теперь он и сам не особенно от них отличался. Вдруг, стоящий рядом, Смирнов сказал:

— Смотрите, вон он идеть?

— Кто? — не понял Бурин.

— Генерал, настоящий генерал. Да вы смотрите, вон там, — и Смирнов осторожно указал.

Бурин посмотрел в указанном направлении. По дороге идущей от кухни к клубу шел среднего роста человек в защитной чистой гимнастерке, подпоясанный коричневым широким ремнем, это удивило, в синих штанах и, что показалось совсем невероятным, в блестящих комсоставских сапогах. Рядом с ним, немного сзади, шел человек в такой же форме, а с другой стороны, чуть-чуть впереди, — немецкий офицер.

Зарядка как-то сама собой прекратилась. Все смотрели на генерала. А он шел не глядя по сторонам, будто кроме него во дворе никого не было. Прошел мимо клуба и пошел по боковой дороге ведущей к комендатуре. Теперь он шел прямо перед строем. Бурин ожидал, что он посмотрит на строй, но генерал глядел прямо перед собой. Дошел до поворота дороги, пошел вдоль забора по направлению в дому где жили полковники. Вошел в него, так и не взглянув на строй.

Опять зазвучало: «Делай раз, делай два . . .» Сделал несколько упражнений и зарядка кончилась. Против

обыкновения почти все остались во дворе. Сбились в группы — все обсуждали событие. Наконец нашелся кто-то знавший что-то о генерале. Он стал рассказывать и около него сгрудились все. Бурин не мог подойти близко к рассказывающему, но его слова, по цепочке, передавали ближе стоящие. Бурин успел только узнать, что генерал боевой и заслуженный, как раздались громкие слова:

— Господа! Разойдитесь!

Бурин посмотрел. Кричал лагерный полицай. А тот продолжал:

— Разойдитесь, господа! Стрелять будут!

Бурин посмотрел на комендатуру. Из окон выглядывали дула пулеметов.

Двор опустел.

В казарме обсуждение продолжалось. Жалели только, что знавший о генерале находится в другом помещении. Несколько человек отправилось туда. В ожидании их возвращения Бурин занялся изготовлением очередного «смертного» кольца. Наконец пошедшие за новостями вернулись, но, к всеобщему разочарованию, не узнали почти ничего, кроме того, что было слышано на зарядке.

Строясь на обед, а потом, стоя у кухни ожидали опять увидеть генерала, но он больше не появился.

Вечером, когда вернулись работавшие на немецкой кухне, один из вернувшихся, знакомый Смирнова, подошел к нему и сказал:

— Видел ты, сегодня утром, генерала?

— Конечно видел? Все его видели!

— Вот это — генерал! Знаешь, что немцы говорили?

— Откуда я могу это знать?

— Ну так слушай! Они говорили, что в обед, когда генералу принес немецкий солдат пищу, тот его на-

зад отправил. Сказал: «Обед я приму, если его принесет немецкий офицер».

— Ну и что, понес немецкий офицер?

— Вот тут-то и главное! Немцы на кухне говорили, что как сказал это генерал, немецкий солдат козырнул, пошел и доложил унтеру. А унтер — дальше.

— Ну и что ж, понес генералу обед немецкий офицер?

— А ты не заскакивай! — чувствуя на себе взгляды окружающих и упиваясь всеобщим вниманием сказал знакомый Смирнова. — Наши кухонные немцы говорили, что такому генералу, действительно, офицер должен обед принести.

— Ну, и понес ему обед немецкий офицер?

— Я сам думал, что не понесет, а немцы сказали, офицер пошел на немецкую кухню, взял немецкий обед и понес генералу.

— Вот это здорово! Молодец генерал!

Долго еще хвалили генерала, придавали ему мыслимые и немыслимые качества. Рассказанное знакомым Смирнова распространилось по всей казарме. Вечером, бродя по проходу, Бурин услышал: говорят о генерале. Подошел.

— И вот, — воодушевленно говорил один, — принесли ему наши баланду в котелке, а он говорит: «Я генерал и такой гадости есть не буду!» Сказали немцам. Они послали немецкого солдата, он принес котелок супа с немецкой кухни и велел отнести генералу. Принесли, а генерал говорит: «В котелке я есть не буду. Пускай принесут в тарелке!» Опять сказали немцам. А те, что ты думаешь, взяли поднос, поставили на него тарелку с супом, да еще и второе, и велели немецкому солдату, чтобы пленные по дороге не съели, отнести. Пришел солдат, а генерал говорит: «Я приму пищу, если

принесет ее немецкий офицер!» Козырнул солдат, доложил немцам, а те послали своего офицера. А генерал говорит . . .

— Да брось ты сказки рассказывать! — перебил один из слушавших. — Не хватает только, чтобы он сказал, что обед ему должен немецкий генерал принести!

Рассказчик смутился, потом вскинул вверх голову и проговорил:

— А генерал сказал: «Данке!»

Кругом засмеялись.

На следующий день генерал во дворе не появился. Говорили, что его с адъютантом куда-то отправили.

Глава III

По лагерю распространился слух, что приехали вербовщики, вербовать добровольцев в армию. Бурин радовался, что, кажется, приближается возможность осуществить свою мечту о взятии оружия. Встретившись с Петькой он сказал:

— Слышал ты о вербовке в армию?

— Слышал. Ну и что из этого?

— Да то, что я был прав, когда говорил тебе, что немцы народ практичный и поймут свою выгоду.

— Это еще вопрос: как и что они понимают.

— Ясно как, если начинают организовывать нашу армию.

— А откуда ты знаешь, что они хотят организовать нашу армию? Они, наверное, просто подсобную силу хотят получит.

— Кто же пойдет в подсобники немцам?

— Найдутся такие. Одни пойдут, чтобы отмстить за своих родичей, другие просто, чтобы не голодать.

— Я в это не верю. Я подам заявление.

— И очутишься подсобником. В своих стрелять начнешь. Я таких уже видел.

— Врешь! Где ты мог таких видеть?

— Где видел — все равно. А видел.

— Ничего ты не видел. Я все равно подам заявление.

— Я уже раз сказал тебе: «Всякий по-своему с ума сходит».

Бурин не стал больше спорить с Петькой, но решил поговорить на тему о вербовке со Смирновым. Разыскал его, просил: слышал ли он о ней и, получив утвердительный ответ, сказал:

— А что вы об этом думаете?

— Я думаю, что надо быть осторожным, потому что трудно от немцев ожидать чего-нибудь хорошего.

— Ну, а если быть осторожным, то как, по вашему мнению, нужно поступать? Следует ли подавать заявление?

— Главное, не надо спешить. Я посмотрю, кто и как ведет эту вербовку и, если окажется что все в порядке, — тогда, может быть, подам заявление.

— Ага! Значит вы, в принципе, не против!

— В принципе, только в принципе. А на практике... сама практика покажет.

— Но, если затянуть и не подать заявление, может случиться, что будет поздно.

— Если дело серьезное и отвечающее нашим запросам, то теперешняя вербовка — это только начало. Она должна будет разворачиваться и с заявлением не опоздаешь. Если же это очередная немецкая пакость, то лучше опоздать.

— Может быть вы и правы, но я боюсь, что если на это начало отзовется слишком мало пленных, то немцы могут подумать, что у нас желания нет и отставить вербовку.

— Может быть и так. Но я все-таки буду осторожен.

— А что заставляет вас быть таким осторожным? Ведь мы заявим, что хотим биться за освобождение своей страны.

— Что мы заявим, для немцев необязательно. Они могут использовать нас только в своих интересах: как карателей, в противопартизанской борьбе и так далее и, наконец, просто как подсобную силу. Я на такую службу идти не хочу.

— Я — тоже. Во всяком случае я карателем никогда не стану. Да, я думаю, что и никто не станет.

— В этом вы ошибаетесь. Найдутся такие, что и карателями согласятся стать: своих будут расстреливать, вместе с эсесовцами деревни жечь.

— Это могут быть только одиночки. Много таких немцы не найдут.

— А им много и не нужно. Наберут, со всех лагерей, таких одну-две роты — и хватит. Да кроме того, кроме сознательно пойдущих в каратели, пойдут и другие — неосторожные.

— Ну, неосторожные все равно карателями не станут. Не смогут!

— Если это будут просто неосторожные, но убежденые люди — да. Но много найдется слабовольных, готовых пойти к кому угодно на службу, лишь бы не голодать. Такие, как раз из-за своего слабоволия, и карателями окажутся . . . Вынуждены будут.

— Я убежден, что карателем никогда не стану. Меня заставить не смогут.

— Я в это верю, но все-таки лучше быть осторожным. Береженного Бог бережет.

«Он тоже, как Петька, беречься хочет, — подумал Бурин. — А я уже до войны наберегся. Хватит! Сейчас, когда представляется возможность, нужно рисковать».

Он написал заявление и, когда пришел переводчик, отдал его. Переводчик, взял, прочел и сказал, что после разбора заявлений, подавших их вызовут.

Несколько дней Бурин, с нетерпением ожидал. На

конец вызвали. Привели в комендатуру. После довольно долгого ожидания направили в помещение Абвера. Это подействовало на Бурина, как холодный душ. «Какое отношение может иметь Абвер к нашему делу? — подумал он. — Тут надо быть очень осторожным».

Абверовец, указал на стул перед столом и предложил сесть. Потом задал несколько вопросов: о происхождении, о том преследовался ли Бурин в Союзе, был ли в заключении и так далее. Бурину показалось, что его ответы, что он непосредственно не преследовался, не был в заключении, не понравились абверовцу.

— А если вас не преследовали, — сказал тот, — так почему же вы вы хотите вступить в армию?

— Я хочу вступить в армию, для того, чтобы бороться за интересы нашего, русского, народа.

— А если эти интересы не совсем будут соответствовать интересам Германии, что тогда?

«Нужно говорить так, — подумал Бурин, — чтобы не попасть в каратели». И ответил:

— Интересы Германии должны совпасть с интересами русского народа. Только в таком случае я согласен . . . — испугавшись, что сказал слишком резко, закончил: — Великий немецкий народ, через свою армию, декларировал, что идет освобождать Россию. Значит, интересы германские и русские — одно и то же.

Абверовец, как показалось Бурину, посмотрел на него не то с насмешкой, не то с сожалением и сказал:

— Ну, хорошо. Можете идти.

В казарме к нему подошло несколько человек, уже прошедших комиссию. Один из них спросил:

— Ну, как? Надеешься, что примут?

— Конечно надеюсь! Ведь не зря же я подавал заявление.

— Правильно. А, правда, молодец немец, что опра-

шивает? Сразу видно, что ищет настоящих людей. Не слякоть всякую. Мне, как я сказал, что отца расстреляли, а я скрывал это, чтобы и самому в лагерь не угодить, что готов за отца отмстить, сразу сигарету дал.

— Мне тоже, — сказал другой. —А вам? — обратился он к Бурину.

— Мне он сигарету не предложил.

Люди переглянулись. Лица их стали сухими и они, ничего не говоря, удалились.

Бурин опять разыскал Смирнова.

— Ну, как? — спросил тот. — Понравилась вам комиссия?

— Нет. Не понравилась. Вы были правы, что нужно быть осторожным. У меня сложилось впечатление, что отбирают каких-то особенных: действительно годных в каратели.

— Ну, а что, если вы теперь, после комиссии, тоже в каратели попадете?

— Надеюсь, что не попаду, — и Бурин рассказал, что ответил немцу.

— Будем надеяться, что не попадете.

Эта надежда оправдалась. Когда, через несколько дней, вызывали взятых в армию, Бурина не вызвали.

Вызванных увели. Бурин смотрел как их, с малым конвоем, провели к выходу из лагеря, провели к находящейся за проволокой, такой же как в лагере, длинной кирпичной казарме, и ввели в нее.

Дня два Бурин прислушивался к звукам, доносившимся из этой казармы. Пели песни, какие-то особые, непривычные, особенно старорежимные. Бурину такие песни были чужды, чужды ему были и люди их поющие. Он радовался, что не попал в их число.

Стали говорить, что лагерь куда-то должны пере-

везти. Бурин слушал и не знал, радоваться ли этому, да и не совсем верил. Но вдруг распорядились собираться. Лагерных полицаев отправили в общие казамы. На их месте появились новые, чужие, какие-то украинцы, которые вели себя подобно полицаям в Житомире. Правда, многохвостных плеток не имели, но были грубы и готовы пускать в употребление дубинки. Построили на отправку и . . . распространился слух, что будут, на дорогу давать настоящий суп. И, действительно, дали суп с макаронами, литра по два, и по булке хлеба. Едва окончилась выдача пищи, погнали в вагоны. В вагоне, опять с окнами забитыми колючей проволокой, было не очень тесно и, как только закрыли двери, Бурин принялся за еду. Хотя отправляемым говорили, что пища дается на два-три дня, Бурин сразу съел весь суп, потом решил, что лучше хоть один раз наесться досыта, и съел весь хлеб.

Везли, действительно, три дня. Хотя Бурин и съел все выданное на дорогу в первый же день, или, вернее, именно потому, он голода не чувствовал: съевши много за раз, заболел и аппетит пропал. Он даже этому радовался.

Наконец, стали выгружать. Оказывается, привезли в Ченстохов. Появился новый конвой. Таких солдат Бурин еще не видел: не то немцы, не то русские — форма полурусская, полунемецкая. Новый конвой окружил многотысячную колонну и погнал по улицам города. Шли строем по пять в ряд и вместо звуков четкого строевого шага над колонной висел звук щелкавших о камни мостовой деревяшек. Бурин разглядывал конвойных. Все больше ему казалось, что это русские: и форма не совсем немецкая и, главное, смотрят по-другому — с каким-то смущением. Попробовал заговорить. Конвоир ответил по-русски:

— Говорите так, чтобы немцы не заметили, а то нам влетит.

Бурин видел, что конвоем командует несколько немцев и, посмотрев в их сторону, сказал:

— Хорошо. Они далеко — не услышат. А кто вы такие?

— Добровольцы . . . Да только, видите какую службу заставили нести . . .

В этом ответе Бурин почувствовал обиду и раздражение, заметил, что конвоир смотрит на него со смущением и будто просит прощения. Сказал:

— Я тоже подавал заявление в добровольцы. Не взяли.

— Может быть, это и хорошо, — и конвоир незаметно сунул Бурину сигарету.

— Спасибо! А куда нас гонят?

— В «Зимний лагерь» — старые казамы.

В «Зимнем лагере» разместили в двухэтажных казармах. Разбили на сотни и велели устраиваться. Бурин занял место на втором ярусе нар. Подошел к окну. Со второго этажа прекрасно виден двор. Видно кухню. Из нее выносят деревянные бачки и расставляют их на площади, по нескольку бачков вместе. «Вероятно, — подумал Бурин, — для каждой сотни отдельно». Приказали по сотням выходить получать обед. Проходя мимо бачков Бурин увидел: сверху блестит жир. Обрадовался. Стали раздавать суп. Запахло капустой. Опять обрадовался Бурин: капуста, жир — хорошо. Но получив свою порцию огорчился: суп сварен из червивой капусты, в блестках жира плавают отвратительные черви. «Но, — утешил он себя, — червей можно выловить. Не пропадать же с голоду!» Понес суп в казарму. Там, получившие суп, ругались, вылавливая червей. Бурин занялся тем же. Чтобы лучше видеть, он подо-

шел к окну. Увидел: две сотни стоят и не идут к бачкам. «Что они, — не хотят суп получать? — подумал он. — Молодцы!» — и тут же почувствовал стыд, что он не в их числе.

— Может быть, если бы и мы все отказались, как они, получать червивый суп, — сказал Бурин Смирнову, — дали бы лучший.

— Не думаю. С немцами не поторгуешься. Заставят есть, что дают.

Видно было, что переводчики что-то объясняют отказавшимся получать червивый суп. Но никто из них к бачкам не шел. Прошло несколько минут. Во дворе появилась группа конвойных с винтовками, под командой немца. «Вот, — подумал Бурин, — сейчас будут заставлять получать суп». Но конвойные, окружив забастовавших, погнали их в казармы. Бачки с супом остались стоять нетронутыми.

— Вот, — сказал Смирнов, — и всё. Не захотели червивого супа, — не получили никакого.

Ночью кто-то расклеил по коридорам записки с призывом не получать червивый суп. Но, когда подошло время его раздачи, получили все: голод не тетка!

Несколько дней ели червивый суп и 200 грамм хлеба. Бурин чувствовал, что совсем начинает ослабевать.

Однажды, после обеда, всех выгнали во двор, пересчитали и погнали куда-то. По дороге Бурин узнал, что — в «Летние казармы». Опять уныло брела длинная колонна людей в коричневых остатках обмундирования, щелкая по камням деревяшками. Вдруг по бокам появились мальчишки, подняли крик и... стали швырять что-то в пленных. «Невероятно, — подумал Бурин, — маленькие человечки швыряют в пленных камни. Откуда такая ненависть?» Увидел, что пленные поднимают «камни». Возле него тоже упал такой, и...

это был не камень, а яблоко. Бурин поспешил поднять его. Колонна пришла в беспорядок, а мальчишки кидали и кидали. Немцы не мешали.

— Думают, что ребята в нас камни кидают, и радуются, — сказал Смирнов.

— Да. А ребята — молодцы. Смотрите как грозят, будто и вправду камнями забрасывают.

Яблочные запасы ребят кончились. Колонна опять пришла в порядок.

Пригнали в «Летние казармы». В окруженном рядами колючей проволоки дворе стояли деревянные бараки. Опять по сотням расположили в них. Время было осеннее, ночи холодные, и Бурин мерз на нарах в бараке. Мерз и думал, что другим еще холодней: у них и обрезков шинели, какой был у него, нет.

Через несколько дней всем выдали старые, коричневые от грязи шинели. Бурину досталась огромная, не по росту, шинель. Но он радовался, думая, что в нее можно завернуться, как в одеяло.

***

Говорят, что в лагерь приехали представители какой-то фирмы и будут отбирать людей на работу. Бурину хотелось посмотреть на этих представителей и он с нетерпением ожидал. Наконец стали, по сотням выводить во двор. Подошла очередь и сотни, в которой был Бурин. Когда вывели во двор, увидел представителей. Поразил их буржуйский вид: хорошие шляпы, серые шикарные, по сравнению с тем, что видел он дома, костюмы. Только показалось странным, что все в одинаковых. «Будто форма у них такая», — подумал Бурин. Стояли и ждали. Насмотревшись на представи-

телей Бурин заметил, что в стороне, у барака стоит группа людей — человек 20—30. «Может быть это те, которых выбрали на работу», — подумал он. Подошедшие полицаи отделили первый ряд — пять человек и велели сделать три шага вперед. Представители стали осматривать вышедших: один — справа, один — слева, остальные — спереди. Осмотрели молча, потом полицаи перевели шеренгу шагов на двадцать вперед. То же со вторым рядом. Бурин подумал, что, может быть всех осмотренных взяли на работу. Стали осматривать третий ряд. Вдруг немец вытолкнул одного из ряда и показал ему рукой в направлении стоявшей у барака группы. «Нет, наверное только этого выбрали», — подумал Бурин. Так отсортировали несколько человек. В их число попал чернявый лейтенант Сергеев. Из ряда, где был Бурин никого не отделили. Бурин не знал, радоваться ли ему, что остался, или нет. «А все-таки, — блудила мыслишка, — на работе, может быть, лучше бы кормили». Осмотр сотни кончился и Бурин с другими вернулся в барак. Двери закрыли. Бурину было интересно, что будут делать с избранными и он подошел к окну. Группа заметно увеличилась. Время от времени в нее вливались новые. Наконец к ней подошли представители. Бурин думал, что сейчас избранных уведут, и очень удивился, когда увидел, что они начинают раздеваться. Сняли шинели, расстегнули и опустили до колен штаны. Стали, по одному, смешно ковыляя в свисающих штанах, подходить к представителям. Вот ковыляет Сергеев. Остановился около представителей, те посмотрели и указали ему в сторону уже прошедших осмотр. Те стояли уже опять одетыми. Натягивая брюки Сергеев присоединился к ним. Скоро осмотрели всех. Никого не отделили.

Сергеев вернулся в барак. Его засыпали вопросами:

«Что сказали немцы?», «Куда возьмут на работу?», «Почему заставили раздеться?» . . .

— А ну их к черту! — ответил Сергеев. — Ни на какую работу они брать не собирались. Смотрели, не обрезанный ли кто. Вот и заставили раздеться.

— Вот так представители фирм! — сказал Бурин Смирнову. — Евреев выискивали.

— Да. Хорошо, что не нашли. Зря пропали бы люди.

Бурин неожиданно засмеялся. Смирнов неодобрительно взглянул на него.

— Я смеюсь потому, — поспешил сказать Бурин, — что как раз выбрали они Сергеева, чистейшего русака.

— Да черный он, как еврей. И нос горбатый.

— А говорят, что рыжие евреи самые вредные. Они, как раз мало имеют восточного вида.

— Я не знаю, какие вредные, какие — нет. Может быть некоторые наши, русские, вредней любого еврея.

***

Опять говорят, что будут вербовать в армию. Бурин уже не ожидал с нетерпением. «Опять, — думал он, — вербовщики окажутся абверовцами». Вскоре выяснилось, что подавать заявления могут только казаки.

— Вот, — сказал Бурин Смирнову, — опять что-то неладное. Почему только казаки? Что это, национальность, что ли?

— Для нас — не национальность, а для немцев, видимо так. Я чистейший русский. Меня эта вербовка не касается. А вот вы — казак.

— Какой я казак?! Я иногородний.

— Вы с Кубани, а по закону все кубанцы казаки.

— Верно. Я попробую еще раз. Подам заявление.

Если будет как в Владимире-Волынском, опять скажу, что сказал там абверовцу. И не возьмут.

На этот раз вербовка велась по-иному. Сначала отобрали всех, кто был зарегистрирован как житель казачьей территории. Их всех поместили в отдельных бараках. Потом предложили, кто желает, подавать заявления. Бурин подал.

Прошло несколько дней. Бурин сидел в бараке и скучал. Смотрел на окружающих «казаков» и думал, что некоторые настолько явно неказаки, что им лучше было бы такими и не объявляться. В барак вошел переводчик с листом бумаги в руке.

— Ахтунг! — сказал он. — По распоряжению коменданта составлена комиссия для проверки казаков. Я сейчас буду читать, кто попал в комиссию. Кого вызову, тот должен пойти ко мне.

Он вызвал нескольких человек и, вдруг, Бурин услышал свою фамилию. «Что за чертовщина?» — подумал он, но встал и пошел к переводчику.

Собравши всех вычитанных, переводчик повел их во двор. Бурин шел и думал, что может означать это назначение в комиссию, и что придется в ней делать?

Пришли в пустой барак. Там стоял стол и несколько стульев.

— Вот, господа, — сказал переводчик, — тут будет заседать ваша комиссия. Каждый из вас из одного какого-нибудь, казачьего района. Я буду вызывать к вам подавших заявление и вы должны проверить, действительно ли каждый — казак. Выберите себе председателя и секретаря.

Работа комиссии началась. К столу подошел первый вызванный. Преседатель спросил фамилию и место рождения.

— Шкляров. Родился в станице Легушковской.

— Какого края Легушковская?

— Краснодарского.

— Вам спрашивать, — обратился председатель к Бурину.

Бурин спросил, какие станицы находятся по соседству с Легушковской. Вызванный без затруднения ответил.

— Правильно, — сказал Бурин.

Председатель, сказал секретарю:

— Запишите: «Кубанский казак».

Так опросили уже многих. К столу подошел высокий, белобрысый, молодой парень. Сказал что он с Кубани. Это значило, что опрашивать нужно было Бурину. Посмотрев на парня, он спросил:

— Какая станица по близости от вас.

— Батайск, — ответил к изумлению Бурина парень.

— Батайск? — спросил председатель, донской казак.
— Да Батайск под Ростовом. Какой же вы кубанский казак, когда своих мест не знаете?

Парень замялся, смущенно поглядел и сказал:

— Да я, я только родился на Кубани, а жил я под Москвой. Вот и забыл свои места.

Бурину стало жаль парня. Он хотел ему помочь, но не знал, как это сделать. В это время председатель сказал секретарю:

— Запишите: «Не казак», — и парню: — Вы можете идти. Таких казаков нам не нужно.

Еще несколько человек оказались такими же «казаками». Бурин думал: «Вот, чтобы попасть в армию, на хитрости идут. Хорошо если хотят в армию идейно, в таком случае жаль, что их отсеиваем, а если — просто с голоду — таких, действительно, не нужно».

Проверенных комиссией и признанных казаками отделили от остальных и поместили в отдельном бараке.

Начальником назначили капитана Лукьяненко. Это был среднего роста блондин, спокойный и симпатичный. Бурин радовался, что получил такого начальника. Но эта радость омрачилась тем, что сейчас в бараке самообразовалась группа активистов, под предводительством высокого, с грубыми чертами лица человека. Он объявил:

— Господа казаки! Пора нам, казакам, жить по-казачьи! Пора показать, что мы, казаки, хотим биться за свою, казачью, свободу. Хотим построить свою, казачью, страну; хотим добиться хорошей жизни, для нас, наших отцов, братьев, жен и детей!

«Вот разошелся, — подумал Бурин. — Точно советский пропагандист!». А активист продолжал:

— Мы, господа казаки, должны показать всем, что такое казачья доблесть. Мы должны возродить наши, казачьи, традиции! Я предлагаю, создать группу верующих, чтобы молитвой, здесь, господа казаки, утвердить казачью волю к борьбе ... — он замолчал, видимо подыскивая выражение.

«Сейчас скажет: за светлое будущее, за коммунизм!» — подумал Бурин.

— За светлое будущее, за новую, казачью ... — он опять замялся.

— Республику, — подсказал майор Иванов.

— Да, за республику! — подхватил активист. — Я предлагаю, немедленно прочесть молитву! — и не дожидаясь согласия начал: — Отче наш ...

— Иже если на небеси, — подхватил майор Иванов, сделав умиленное лицо.

Молитву подхватило несколько человек, уже ранее сгруппировавшихся возле активиста. Остальные продолжали молча сидеть на нарах.

— Отставить! — прервал молитву активист. — Что

же, — громко и вызывающе обратился от к сидящим, — не поняли, что ли, казачьего долга? Стоя нужно молиться! — и обратился к своей группе: — Начнем опять сначала, господа казаки!

Бурину показалось, что он очутился на собрании, где, хочешь или не хочешь, нужно встать при упоминании имени вождя, где нужно рукоплескать, когда говорят о «достижениях», где нужно все делать так, как предусмотренно ведущими собрание. Он посмотрел вокруг: все продолжали сидеть на нарах.

— Мы ждем, господа казаки! — крикнул активист.

Несколько человек слезло с нар. Активист посмотрел на них и, обводя взоров еще сидящих, повторил:

— Мы ждем, господа казаки!

Неохотно, стали слазить с нар. Активист, вызывающе поглядывал на мешкающих. Постепенно все стали около нар. Активист махнул рукой, как регент, и фальшиво запел «Отче наш». Его группа подхватила.

Слушая такую знакомую с раннего детства молитву, вызывавшую тогда умиление и веру в помощь Отца, Бурин чувствовал только раздражение. Ему было досадно, что он вынужден стоять, как на собрании, когда звучал «Интернационал». Наконец молитва была окончена. Активист с удовлетворением сказал:

— Вот, господа казаки, и воскресили мы нашу, казачью, традицию, — повернулся к своей группе: — Теперь, господа казаки, пойдем, в другой барак.

— Неужели, — сказал, после ухода активистов, Бурин Лукьяненко, — неужели они решатся и в других бараках заставлять людей стоя слушать их молитву?

— А почему не решатся? Конечно решатся. Они, видно, в СССР привыкли заставлять людей под свою дудку плясать.

— Но здесь не СССР. Здесь нечего бояться, что зачислят во «враги народа»!

— Вы думаете? — Напрасно! Здесь, конечно, не СССР, но главное тамошнее средство принуждения, страх, есть и тут.

— Какой же может быт страх перед этими молильщиками?

— А какой страх заставил вас, и меня, встать с нар?

— Я не знаю, был ли это страх. Может быть это было другое — желание подчеркнуть, что мы делаем это назло советчикам.

— Бросьте себя выгораживать! Ясно — со страху встали!

— Я . . .

— Бросьте! — перебил Лукьяненко. — Очень в нас за прошедшие годы этот страх въелся. Подсознательно и здесь он действует.

— Но там мы боялись, что донесут, что попадем в руки энкеведистов, а тут . . .

— А тут, — опять перебил Лукьяненко, — тут не могут донести? Только там доносили НКВД, а тут донесут абверу.

— Ну?! . .

— Чего там «ну?!» Разве вы не заметили, что этот активист действует советским методом. Да он, к слову, был председателем стансовета.

— Откуда вы это знаете?

— Да из его разговоров во Владимире-Волынском. Он там, сначала, красным был. Своим советским патриотизмом похвалялся. Карьеристом был там, теперь тут карьеру сделать старается.

— Мне не верится, что он, все-таки, может пойти с доносом к немцам.

— Ему не привыкать! Думаете он там, в СССР, не доносил? Не постесняется и здесь.

— Но какую же карьеру он может тут сделать? Какую может получить выгоду?

— А выгоду он себе, конечно, уже нашел. Зря такие не стараются.

Эти слова подтвердились. Вскоре всем стало известно, что активист добился у немцев, через зондерфюрера, оформления его группы, как религиозной общины. Даже одного сделал священником. Добился получения дополнительного пайка и права производить моления во всех бараках. Каждый день его группа становилась, утром и вечером, посреди барака, «священник» начинал «службу» ему прислуживали, с умильными лицами, активист и майор Иванов. Теперь уже, зная об их связи с немцами, все, покорно стоя, ожидали конца моления. Вскоре роль старшего, капитана Лукьяненко, свелась к самым незначительным административным функциям. В остальном тон задавал активист. И этот тон очень не нравился Бурину. Он чувствовал отвращении при то и дело повторяемых активистом подчеркиваниях значения казачьего звания, при непрерывных понуканиях поддерживать «казачьи традиции».

Однажды вечером, отстояв молитву и злясь на себя, что не решается протестовать, трусит, Бурин устроилна нарах и хотел заснуть. Внимание его привлек разговор на нарах поблизости. Досадуя, что мешают спать, посмотрел туда. Увидел там неказака из другого барака. «Вот еще, гостей вздумали принимать», — подумал он. Опять попытался заснуть, но разговор мешал. Прислушался.

— Вот, Ванюшка, — говорил гость, — попал ты в казаки, будто чужой стал. А из-за чего?

— Да чтобы в армию взяли.

— А чего ты в этой «армии» добьешься?

— Да, может быть, удастся с честью домой вернуться — не как со страху в плен попавший.

— Какая же тебе будет честь, если ты вернешься туда с этой «армией»?

Бурин увидел, что активист, на нарах напротив, не спит. Прислушивается.

— Как какая? Вернусь как освободитель?

— Как освободитель в немецком обозе?

Активист слез с нар. За ним еще двое его сторонников, слез и майор Иванов. Они подошли к разговаривающим.

— Не в обозе, и не в немецком, а в своей армии.

— В армии, которая будет в своих стрелять? В отцов и братьев?

— Мы не будем в своих стрелять. Они и так к нам перейдут.

— Держи карман шире — перейдут! К кому? К идущим вместе с немцами?

— А что ж, что с немцами? — вмешался активист. — Немцы несут нам освобождение.

— Хорошее освобождение! Унтерменшами считают!

— Советских — правильно, а нас, казаков . . .

— Да откуда вы взялись, такие казаки? — перебил гость. — В Союзе интернационалистами были, а теперь, тут, ишь какие «казаки!»

— А ты говори, да не заговаривайся! — грубо сказал активист. — Мы казаки настоящие, за казачью волю боремся.

— За какую еще волю? — За свою шкуру боретесь!

— Как, за шкуру?! Мы жизнь свою готовы . . .

— Шкурники вы, не больше, — озлобился гость. — Продажные шкуры!

— Бей его, гада, казаки! — закричал активист и размахнулся.

Гость увернулся от удара, вскочил и... очутился между друзьями активиста. Посыпались удары. Защищая от ударов лицо руками, гость кинулся бежать.

— Держи его! Бей! — кричал активист.

Никто не задерживал.

Утром, гуляя по двору возле барака, Бурин увидел активиста, направляющегося к комендатуре. В это время кто-то, рядом сказал:

— Вон, пошел «казак» с зондерфюрером поделяться. Только, хорошо, что не знает, кого ночью бил. Не сможет предать.

— Да, ночью некрасиво вышло, — ответил Бурин. — Да только, это тоже не дело — нас продажными шкурами обзывать.

— Да он нас и не обзывал. Обозвал этих «святых».

— Откуда вы это знаете?

— Я этого парня, вот как хорошо знаю. Он больше несоветский, чем, может быть, многие из нас.

— Чего же он ночью так против вступления в армию ратовал?

— Да того, что уж очень он немцев ненавидит. Они ему поперек горла стоят.

В это время из дверей комендатуры появился активист и зашагал к бараку.

— Что-то уж очень скоро вышел, — сказал парень. — Вряд ли успел много наябедничать. Да только, смотрите, как торопится. Словно приказ выполняет.

Активист подошел. Остановился и сказал:

— Господа казаки! Скажите другим, кто во дворе, чтобы собирались на площадке, вон там, — указал он рукой. — А я пойду, в бараке объявлю.

— Ишь, как распоряжается! — сказал парень. — Никому я ничего говорить не буду.

Но слова активиста и так услышали многие гулявшие во дворе и стали идти к площадке. Из барака стали выходить другие. Пошел к площадке и Бурин.

— Господа казаки! — громко сказал подошедший активист. — Сегодня нам, казакам, нужно показать свою ненависть к иудо-большевизму! Сейчас будут наказывать двух гадов, попробовавших бежать из лагеря. Их приведут когда все пленные будут во дворе.

«Вот осточертел он со своими 'казаками' и 'гадами'! — подумал Бурин. — А сам — самый настоящий гад. Помогает немцам провести показательное наказание. Того и гляди, начнет требовать, чтобы мы кричали: 'Смерть изменникам!'»

Постепенно двор наполнился пленными. Только посередине осталась пустая площадка. Из комендатуры вышли два солдата с винтовками, между ними двое пленных, сзади фельдфебель и переводчик. Направились к середине площадки. Дойдя до нее остановились. От группы отделился переводчик.

— Ахтунг! — закричал он. — Сейчас, за попытку бежать, будут наказывать этих двух пленных.

«Странно, — подумал Бурин, — нет стенки, чтобы пули перехватывала. Как же стрелять будут? Ведь пули далеко полетят». Но все шло не так, как при расстреле майоров. Солдаты не снимали винтовок с плеч, санитаров с носилками не было. Вместо перевода приговора переводчик объявил:

— «Хинлеген!» — значит «ложись!»; «Ауфштеен, марш-марш!» — значит «Встать! Бегом!»

— Что это еще за урок немецкого языка? — сказал сосед.

В это время фельдфебель шагнул в сторону двух пленных. Стал, расставил ноги и заорал:

— Хинлеген!

Пленные легли. «Неужели будут стрелять в лежащих?» — подумал Бурин. Но фельфебель закричал:

— Ауфштеен, марш-марш!

Наказываемые поднялись и побежали. Опять «Хинлеген!» Едва пленные легли — «Ауфштеен, марш-марш!» Пленные бежали, ложились, опять вскакивали, и опять бежали — до следующей команды. Фельдфебель командовал с явным удовольствием, надуваясь как петух при выкриковании команд. В лагере, в полной тишине, звучали только эти команды, да слышно было хриплое дыхание наказываемых. Вдруг Бурин услышал:

— Так их, так их, советчиков!

Увидел: говорил активист, стоя, на манер фельдфебеля, с расставленными ногами. А активист продолжал:

— Смотрите, господа казаки, на этих ... — и вдруг замолчал, увидев повернувшиеся к нему враждебные лица.

Наказываемые ложились, вставали и бежали уже не по командам фельдфебеля. Он, устав кричать, всунул в рот свисток и свистел. Люди уже не могли вскакивать, с трудом становились на четвереньки, с трудом вставали и не бежали, а шатаясь двигались вперед. Фельфебель шел сзади и свистел, свистел. Бурин посмотрел вокруг. Большинство сидело на земле, делая вид, что не смотрит на наказываемых. Некоторые даже закрыли свои лица выдававшимися в лагере газетами. Свистит фельдфебель. Падают, становятся на четвереньки, встают и шатаясь делают несколько шагов, отказывающимися служить ногами, люди. Лица их в растекающейся от пота грязи, а фельфебель свистит.

Вот один остался на четвереньках. Фельдфель с размаху ударил его ногой в зад. Человек поднялся, шатнулся и упал. Фельдфебель посмотрел на, него, обвел взглядом двор, что-то сказал солдатам и пошел прочь. Солдаты, подняли лежащего, крикнули на другого и показали ему на комендатуру. Он, на подгибающихся ногах, шатаясь пошел в сторону ее. За ним — солдаты, таща между собой пленного.

***

Активист сообщил новость, что скоро отправят в лагерь для добровольцев — в поправочный лагерь.

— Там, господа казаки, — закончил он, — нас будут кормить солдатским пайком, чтобы мы поправились и могли нести военную службу.

Бурин этой новости очень обрадовался. Обрадовался тому, что, кажется, наконец, кончится умертвляющее пленное существование. Но ему не верилось, что где-нибудь его и других могут кормить солдатским пайком. Оживленный новостью, подошел к Лукьяненко, надеясь что тот, как начальник, знает больше. Спросил его:

— Вы тоже слышали, что нас отправят в выздоровительный лагерь? Правда это?

— Не знаю. Я тоже только сейчас об этом услышал. Я, ведь, к зондерфюреру не бегаю.

— А верите вы в то, что нас там будут кормить солдатским пайком?

— Правду сказать, мне не верится. Ведь солдатский паек — это значит: суп с жиром и мясом, колбаса . . . невероятно!

«Он думает, как и я, — решил Бурин. — Значит не

я один уже потерял веру в возможность для нас есть по-человечески». А Лукьяненко продолжал:

— Вы знаете, когда человек долго голодает и все его мысли только о еде, он начинает нормальную жизнь представлять себе по-пленному. Я, например, когда думаю о доме, когда думаю, что вернусь домой, ловлю себя на нелепой мысли . . . — Лукьяненко замолчал.

— Что ж это за нелепая мысль?

— Стыдно сказать, что это за мысль. Я представляю себе, что дома буду распоряжаться всем хлебом.

— Ну, и что же тут нелепого?

— Да то, что я это себе представляю так: весь хлеб я буду держать под замком, а перед едой буду делить на порции и выдавать своим. Разве это не нелепость?

— Конечно — нелепость. Но, в наших условиях, это переоценка ценностей. Хлеб дороже золота.

Несколько дней в бараке все толковали об ожидаемой отправке. Наконец день ее настал. Офицерскую роту, так теперь назвали группу, в которой был Бурин, под обычным конвоем отвели на станцию и погрузили в вагоны. Перед погрузкой выдали по котелку супа с полевых кухонь. Не лагерного капустно-червивого, а настоящего — с макаронами. Огорчило только, что хлеба не дали. Бурин, как только очутился в товарном вагое, сел на пол и съел весь суп. В вагоне было относительно просторно и Бурин, экономя силы, лег. Застучали колеса. Бурин ожидал, что заболеет, как во время перевозки в Ченстохов, и не будет иметь аппетита, но скоро почувствовал: хочется есть. Утешил себя, что в новом лагере получит солдатский паек. Заснул. Наконец стали открывать двери вагона. Кричат немецкие конвоиры. Строят выходящих. Пошли. Шли не так уныло, как когда привезли в Ченстохов. Ведь шли в выздоровительный лагерь. Даже старались идти в ногу, но

мешали деревяшки на ногах. Кто-то сказал, что приехали в Остров-Мазовецкий. Подошли к лагерю. Опять колючая проволока, опять кирпичное здание комендатуры. Ввели во двор. Поперек его, от двухэтажного кирпичного красного здания комендатуры к находящемуся напротив нее, в другом конце двора, такому же зданию ведет широкая усыпанная песком дорога-улица. Провели по ней и остановили у находящегося справа от улицы длинного одноэтажного строения. Бурин еще издали видел его и думал, что это, вероятно, кухня. А когда остановили — сомнения исчезли. Возле кухни стояло несколько деревянных бачков, рядом с каждым человек в советской форме. Бурин решил, что это раздавальщики. Перед строем прибывших остановился человек в немецкой форме с офицерскими, но только более узкими погонами.

— Кто из вас старший? — сказал он по-русски.

— Я, — ответил Лукьяненко.

— Подойдите ко мне.

Бурин смотрел, как немец что-то объяснял Лукьяненко, потом повел его к двухэтажному зданию. Через минуту они вышли из него. Немец, не доходя до кухни, пошел в сторону, Лукьяненко вернулся к строю.

— Господа! — начал он. — Господин зондерфюрер сказал, что мы сейчас получим пищу, а потом пойдем в отведенное нам здание. Сейчас идите, в порядке, к бачкам, а потом . . .

Бурин не дослушал, кинулся к ближайшему бачку. Получил хороший суп с овощами и картофелем, хотел отойти, но раздающий сказал:

— Идите к тем бачкам, получите картофель.

Бурин не верил своим ушам. Поспешил к указанным бачкам. Получил, действительно, несколько варенных, таких аппетитных, картофелин в мундирах.

Держа в одной руке котелок с супом, прижимая к себе картофелины в поле шинели не знал куда идти. Досадуя, что не дослушал Лукьяненко, спросил соседа:

— А теперь куда?

— А в то здание. Видите другие туда идут.

Войдя в здание, увидел у одной стены трехэтажные нары. Поспешил к ним. Сел и принялся за обед. Ел и думал, что и суп роскошный, и картофель необыкновенно вкусный. Съел его не очищая. Когда все поели, Лукьяненко принялся распределять людей по нарам. На первом этаже было две комнаты. Во второй, как и в первой были нары в три этажа у одной стены. Бурин получил место на третьем ярусе. Распределив всех по нарам Лукьяненко сказал:

— Вот, господа, здесь мы будем жить, а на втором этаже комнаты для отдыха. Там есть столы и скамьи.

Бурину и в голову не пришло, что Лукьяненко должен был сразу сказать, что обедать можно идти на второй этаж и есть за столами, и он даже не сразу понял, когда Лукьяненко добавил:

— Там, за столами, можно будет и обедать. Осматривайтесь, а я пойду получать рацион.

— Какой рацион? — спросил кто-то.

— Не знаю, получу, увидим.

Лукьяненко, взяв с собой двоих, ушел. Бурин пошел по лестнице на второй этаж. Там, действительно, стояли длинные столы а возле них скамьи. Другой мебели не было, но Бурина это не смутило. Уже перспектива обедать за столом казалась верхом роскоши. Мысль о том, какой рацион принесет Лукьяненко не давала покоя и Бурин поспешил вниз. Там почти никого не было. Бурин пошел к дверям. Возле дома, в ожидании, группками стояла вся офицерская рота. Не зная откуда должен прийти Лукьяненко, смотрели по сторонам.

Принялся оглядываться и Бурин. Видел длинные, похожие на конюшни строения, расположенные по сторонам улицы. Видел стоящее справа от нее, почти в конце, большое двухэтажное красное кирпичное здание казарменного типа, но все это видел как-то так, между прочим: его глаза искали здание похожее на склад. Наконец увидел и его. «Вот оттуда, наверное и появится Лукьяненко с рационом», — подумал он. И увидел, оттуда вышли трое. Несут что-то завернутое в бумагу. От нетерпения хотел побежать навстречу, но постеснялся. Наконец Лукьяненко с другими подошел. Все кинулись к нему, а он, не отвечая на вопросы, сказал:

— Идите в казарму, господа. Там разделим, — и прошел к двери.

В помещении все опять столпились около Лукьяненко, и только после его настойчивых просьб, расселись на нарах. Лукьяненко развернул первый пакет. У Бурина захватило дыхание: он увидел несколько колбас. А Лукьяненко развернул другой сверток и тут уже Бурин просто обомлел: сигареты!

— Вот, господа, добавочный рацион. Разбейтесь на группы по десять человек и присылайте выборных за рационом, — сказал Лукьяненко.

Все засуетились. Стали сбиваться в группки. Без выборов около наиболее ининциативных собрались десятки и раздача рациона группам началась. Получив, тщательно раделили, колбасу раскричали, сигареты взяли по три на человека. Бурину казалось, что он попал в рай. Кусочек дешевой колбасы казался невероятной роскошью, а сигареты, завернутые в бумажку, Бурин боялся положить в карман: не дай Бог помнутся! Так и стоял с кусочком колбасы в одной руке, с сигаретами в другой. Вдруг вспомнил, что хлеба не получил.

Заволновался, спросил соседа. Тот ответил, что уже спрашивал Лукьяненко и тот сказал, что сегодня хлеб уже раздали. Бурин сожалел, что такую роскошь, как колбаса, приходится есть без хлеба, но успокоил себя тем, что и так получил сегодня невероятно много. Смакуя, откусывая микроскопические кусочки, съел колбасу. Некоторые уже дымили сигаретами. Бурин прикурил, затянулся раз-другой, почувствовал как закружилась голова. Осторожно, чтобы не измять, затушил сигарету и спрятал.

Перед вечером пришел полицай — без плети и даже без палки, только с нашивкой на рукаве. Вежливо спросил, где он может увидеть старшего. Ему указали на Лукьяненко. Подойдя к тому, полицай, став почти что смирно, сказал:

— Господин офицер, дайте мне сведения, сколько матрацев вам нужно.

— Матрацев?! — удивленно спросил Лукьяненко. — Каких матрацев? . .

— Да чтобы спать.

— Нам нужно сто двадцать матрацев, — ответил, наконец понявший, Лукьяненко, — и спросил: — Сколько человек надо выделить?

— Мы сами привезем, — ответил полицай. — Так приказано.

Едва полицай ушел, все вышли во двор: смотреть откуда и как привезут давно не виденные матрацы. Бурин ожидал, что появятся двуколки с людьми вместо лошадей и очень удивился, когда увидел: лошадь тянет подводу с грудой коричневатых матрацев. Рядом идет несколько человек. Подвода подъехала, пришедшие стали снимать матрацы и таскать их в помещение. Там разложили их на нарах и ушли.

— Вот это так, — сказал молодой, повеселевший лейтенант, — прямо по-царски!

Все загудели, обсуждая события дня. Многие полезли на нары, попробовать как хорошо лежать на матраце. Полез и Бурин. Лег. Казалось, будто лежит на пуховой перине, хотя матрац был длинным мешком из редкой, как густая сетка, материи сделанной из толстых свитых из бумаги ниток. Наполнен он был обрезками бумаги.

Вечером все собрались на втором этаже. Трудно было узнать вчерашних ченстоховских пленных. Царило оживление, все весело разговаривали, даже играли в оказавшиеся кое у кого самодельные карты, шашки и даже в шахматы. Только поздно вечером Бурин улегся на своем матраце и, наслаждаясь непривычной мягкостью, не сжимаясь в комочек заснул.

Проснувшись Бурин, услышал, что уже собираются идти получать чай. Вышел во двор. Тут только заметил, что одна часть двора отделена колючей проволокой. За проволокой увидел худых пленных. Подошел к проволоке. Пленные принесли бачки и делят суп. Бурина удивило, почему они утром получают суп, и почему этот суп так похож на ченстоховскую капустную баланду. Спросил находящегося возле проволоки. Тот ответил:

— Мы не добровольцы, а просто пленные. Как пленных нас и кормят.

— А почему утром баланду дают?

— А вот, дадут ее и погонят на работу.

Бурин отошел. Увидел: пошедшие за чаем тащут бачки, такие же, какие он видел у пленных. Подошел. В бачках была капустная баланда. На посыпавшиеся со всех сторон вопросы Лукьяненко ответил:

— В лагере, до сих пор были только кавказцы и

азербейджанцы. Они получают солдатский паек. А мы русские казаки и начальство не знает, как кормить нас. Нет приказа.

Настроение упало. С огорчением принялись хлебать баланду.

Пришел зондерфюрер. Посмотрел на всех, и сказал:

— Вчера вам выдали солдатский паек по ошибке. Не знали, что вы русские. Как кормить русских, приказа нет. Запросили начальство, а пока будете получать пленный паек. А то, что получили лишнего, с вас удержат.

— Что же можно удержать с пленного пайка. От него и без удержания можно ноги вытянуть? — спросил Лукьяненко.

— Ничего, не горюйте. Может быть скоро прийдет распоряжение и вам давать солдатский паек. А удерживать нужно, чтобы отчитаться. Да и удерживать будут, я думаю, только для формы.

Все совсем приуныли. Зондерфюрер достал из кармана губную гармонику и стал наигрывать русские песни. Это всех удивило. Вокруг него сгрудились. Стали спрашивать. Бурину показалось, что зондерфюрер отвечает, как-то слишком осторожно, словно боится. Сыграв еще несколько песен, он рассказал о своей жизни в старой России, о том, как ему хорошо тогда жилось и, с сожалением глядя на окружающих, сказал:

— Мне нужно идти. Жаль, что я ничего не могу сделать для вас. Не в моих силах.

***

Прошли две недели. Бурин очень отощал от уменьшенного пленного пайка. Немцы вызвали Лукьяненко.

Все надеялись, что его вызвали чтобы сообщить о получении разрешения на выдачу солдатского пайка. Но, вернувшись, он сказал, что получил распоряжение вести в баню.

В бане, раздевшись, Бурин удивился: вместо ног у него какие-то палки с огромными шишками колен. «Как у доходяг во Владимире-Волынском», — подумал он, и посмотрел вокруг. Кругом такие же скелетообразные люди. Это успокоило.

Только что вернулись из бани, как пришел зондерфюрер. Улыбаясь сказал:

— Кончилась для вас баланда. Пришел приказ давать и вам солдатский паек.

Кто-то крикнул «Ура!» Зондерфюрер посмотрел в ту сторону и Бурину показалось, что у него лицо, будто при зубной боли.

Наконец подошло время обеда. Получили паек, как в день прибытия, и торжеству не было конца.

На другой день, утром, Бурин смотрел, как гонят на поверку азербейджанцев. Он уже не раз видел это траурное шествие, но, занятый собой, огорченный отнятием пайка, не приглядывался. Сейчас ему бросилось в глаза, что многие несут, сидящих у них на плечах, товарищей по плену. В это время мимо проходил полицай. Бурин спросил:

— Чего это они один другого на себе тащат?

Полицай остановился, посмотрел на Бурина и ответил:

— Есть приказ, чтобы все, кроме офицеров, выходили на поверку.

— Ну и что ж, разве это значит, что один на другом должен сидеть?

— Да они, ялдаши, чёрти что жрут и болеют. А немцы не верят и требуют, чтобы все были на повер-

ке — и больные, и здоровые. Только после поверки отправляют больных в лазарет. Вот и тянут они один другого. А в лазарете — мрут как мухи.

Полицай ушел. Бурин раздумывал о человеческих судьбах, об этих вот ялдашах, которые не хотели воевать, массами сдавались в плен, а теперь тут, в плену, мрут как мухи. Вдруг почувствовал: в икре будто что колет. Почесал это место. Стало, как будто, лучше. Но вскоре икра начала болеть. Ночью боль мешала спать. Утром попросился к врачу. Стоящий рядом активист, с наигранной «казачьей» грубостью, спросил:

— А что у тебя?

— Не знаю. Вроде нарыва.

— Какой же ты казак, если от нарыва хнычешь?

— Ладно! — перебил активиста Лукьяненко. Посмотрел на него с раздражением и сказал Бурину: — Хорошо. Я заявлю о вашей болезни, — и ушел.

Вернувшись Лукьяненко сказал, что получил для Бурина направление в лазарет и он должен туда сейчас же идти.

— Да я не могу идти. Больно.

— Ай да казак! — крикнул активист. — Из-за нарыва его нести, что ли?

— Не ваше дело, — сухо оборвал его Лукяненко. — Если нужно — понесем.

— Нет, нести не надо, — сказал Бурин, — если кто поможет, я дойду.

— Хорошо. Пойдем, — сказал Лукьяненко. — Берите меня за шею.

Держась рукой за шею Лукьяненко, Бурин запрыгал на одной ноге. Думал, что идти нужно к большому лазарету, но Лукьяненко тащил в сторону небольшого белого здания, стоявшего в самом отдаленном конце двора.

— Куда вы меня ведете?

— А вот в этот, хирургический, лазарет.

Осматривал ногу Бурина молодой русский врач. Посмотрел, покачал головой, сказал:

— У вас злокачественный нарыв. Нужно немедленно вскрыть.

Бурина положили на операционный стол. На лицо одели маску.

— Поднимите руку, — сказал врач, — и держите ее так.

Бурин услышал, что на маску что-то льется, резкий запах ударил в нос, перед глазами закрутились огненные круги и . . . он почувствовал, что с лица снята маска. Открыл глаза. Рядом стоял врач, вытирая руки.

— Что случилось? — спросил Бурин. —Не будете оперировать, что ли?

— Уже вскрыл, — ответил врач. — Целый стакан гноя вычистил.

Положили Бурина в маленькой комнате, где стояла только одна двухэтажная койка. Едва он положил голову на подушку, как заснул. Проснулся от того, что койка качалась от движений находящегося на втором ярусе. Посмотрел вверх. Сверху глядит человек. Глядит внимательно и с участием.

— Ну как?

— Ничего, — ответил Бурин. — А вы давно здесь?

— Да уже месяца два.

— А что у вас болит? —

— Да сейчас — ничего.

Этот ответ удивил Бурина и он стал расспрашивать. Узнал, что врач — простой пленный, получает пленный паек, но парень хороший, у больных пищу не тянет. А вот, кто ему помогает, благодарит, чем может — в больнице месяцами держит.

— А чем же вы-то можете ему помочь? Вы ведь сами в лазарете?

— А у меня товарищ в пленной рабочей команде. Они там, на работе, от добрых людей, что получают.

«Вот, — подумал Бурин, — простой человек, и товарищ его, наверное, тоже простой, а человеческие чувства не потерял. А мы, командиры, каждый только о себе думаем. А, может быть это так потому, что они, колхозники, и дома к голоду привыкли».

Прошло несколько дней. Бурин понемножку стал ходить на костылях. Никто из комсоставской роты его не навещал и Бурин скучал. Лазаретная пища была скудная и поправиться было трудно. Голодный и угрюмый Бурин, на костылях проковылял во двор. Смотрел кругом и тосковал. Невдалеке, за проволокой работали пленные. Один посмотрел на Бурина, сказал что-то другому. Тот отошел, развязал вещевой мешок, вынут что-то из него и пошел к Бурину. Подошел к проволоке и молча проткнул что-то, завернутое в кусок газеты. Бурин взял. Пленный, ничего не сказав, ушел. Бурин развернул сверток. У него в руке кусок тыквы. Хотел поблагодарить. Но пленные делали вид, что не видят его. Окликнуть он не решился, боялся, что конвой может их наказать.

«Вот, — думал он, — простые люди, а пожалели, а наши, командиры, даже и не думают обо мне. Может быть это потому, что они, командиры, отборная часть населения, только отборная по качествам нужным режиму — преданные «родному и любимому». А чтобы быть признанным таким «преданным» нужно быть карьеристом, нужно заботиться только о себе, нужно быть эгоистом. Вот и плоды».

Рана на ноге не заживала, гноилась. Врач смотрел на нее, и говорил, что он рад и тому, что она, все-таки

хоть немного затянулась, ведь ему пришлось операцию делать в антисанитарных условиях: не было даже и перчаток; хорошо и то, что не случилось заражения крови. Бурин мог уже ходить без костылей и он решил просить врача выписать его из лазарета. Врач согласился, но сказал, что из этого лазарета выписанных переводят в большой — в отделение для выздоравливающих. Получив направление Бурин пошел в большой лазарет. Проходил мимо помещения офицерской роты, подумал, что, может быть, следует зайти туда, но потом, вспомнив что никто его не навестил, прошел мимо. Дошел до дверей лазарета. Вошел. Увидел широкую мраморную лестницу, ведущую вверх. Под лестницей заметил большую груду чего-то, ему показалось, похожего на дрова. Присмотрелся. Одна возле другой, плотно, как аккуратно сложенные поленья, желтые ступни. Не веря глазам подошел ближе. Да, ступни, а дальше, к стене, в полутемноте, сверху, — ряд голов в разных положениях. Некоторые лицами вверх. И эти лица, эти лица — обтянутые желтой кожей черепа. Рты открыты, будто кричат беззвучно.

— Эй, ты! — крикнул кто-то сверху. Ты что здесь делаешь?

Посмотрел вверх. На лестнице стоит здоровый круглолицый человек. «Наверное санитар», — подумал Бурин и ответил:

— Я направлен в команду выздоравливающих.

— Так ты должен был в другой вход идти. А тут тебе делать нечего. Понял?

Бурин повернулся и вышел во двор. Обошел здание, увидел двери. Вошел. Тут опять была такая же, как та под которой лежали трупы, лестница, но под ней было пусто. Не зная куда идти, остановился в нерешительности. Прямо перед ним высокая двухстворчатая

дверь, очевидно ведущая в казарму, справа — другая, одностворчатая. Подумав, что за ней, может быть, канцелярия, подошел и постучал. Услышал, что к двери кто-то идет, отступил на шаг. Дверь приоткрылась, выглянуло здоровое круглое лицо.

— Тебе что?

— Я направлен в отделение выздоравливающих . . .

— Ну и иди туда! — перебил выглянувший.

— Я не знаю, где оно.

— Иди на второй этаж, — и, приглядевшись, добавил: — Откуда?

— Из хирургического лазарета.

— Нет, я спрашиваю: из какой команды?

— Из офицерской роты.

Круглолицый вышел, закрыл дверь и сказал:

— Хорошо, я проведу вас. Идите за мной.

Сказав, быстро поднялся по лестнице до площадки, остановился, видя что Бурин, хромая, не поспевает за ним, подождал и, уже медленнее, стал шагать по ступеням. Перед дверью опять подождал, открыл ее и повел Бурина между рядами двухэтажных деревянных коек. Спеша за санитаром Бурин заметил — на койках, на коричневато-желтых матрацах, без подушек, лежат люди. В глаза бросилось — из под грязно-коричневых шинелей, кое-где торчат желтые ступни. «Такие, как там, под лестницей», — подумал он. Санитар провел его через несколько арок-дверей и остановившись в последнем отделении стал оглядываться. Увидев не занятое место на одной койке, внизу, сказал:

— Вот тут располагайтесь, а я пойду.

Санитар ушел. Бурин подошел к своей койке. Голый матрац, подушки нет. Положил вместо подушки свой вещевой мешок и сел на матрац. Нога, после долгого хождения, болела. Как был, в шинели, осторожно лег.

Едва закрыл глаза увидел желтые ступни торчащие из штапеля трупов под лестницей. Стало страшно. Открыл глаза и сел. И опять увидел — желтые ступни. Они торчали из-под шинели на койке наискось. Опять стало страшно. Хотел закрыть глаза, но ступни зашевелились, спрятались под шинель. С койки выглянуло желтое лицо обрамленное русыми волосами.

— Пришли выздоравливать? — сказал русый. — Откуда?

— Из хирургического лазарета. А что?

— Да ничего. Я увидел — русский, вот и спросил. Можно к вам? — и, не дожидаясь ответа, слез с койки.

Сев рядом с Буриным посмотрел по сторонам и тихо, шепотом, начал говорить:

— Выздороветь тут — чудо. Если нет друзей, чтобы жратву приносить — могила.

— Но ведь тут тоже солдатский паек дают!

— Солдатский паек, пока до нас дойдет, в ничто обращается. Вот, будут его выдавать, увидите. Я — в рабочей команде был, ребята подкармливают, а без этого давно бы окачурился. А вы где были?

— В офицерской роте.

— Ну, там паек хороший дают и вам свои помогут.

Бурин хотел сказать, что не надеется на это, но в это время в палату вошли два санитара. Русый поднялся и полез на свое место. Санитары положили на скамью что-то завернутое в бумагу. Сели и развернули сверток. Бурин увидел малюсенькие кубики масла, такие же кусочки колбасы и хлеба и . . . отдельный пакетик. Беря кусочки санитары стали их подавать лежащим на койках. Те, молча, протягивали сухие костлявые коричневые руки, брали свои порции и сейчас же начинали есть. Уже раздали все кусочки и Бурин подумал, что для него сегодня порции нет, но санитар взял

отдельный пакетик и, не разворачивая подал ему. Бурин развернул. В пакетике была нормальная порция, такая, какую он получал в офицерской роте. Бурин обрадовался и . . . сейчас же ему стало стыдно — стыдно за эгоизм. Стараясь, чтобы другие не заметили, что он получил больше их, съел.

Вечером опять к нему пришел русый. Сел, посидел немного молча, и сказал:

— А вас санитары боятся.

— Почему?!

— Да потому, что вы из офицерской роты?

— Ну что же? И почему они должны меня боятся?

— Да потому, что думают: вы можете, если получите такую порцию, как нам дают, пожаловаться.

— Но и другие могут пожаловаться!

— Другим жаловаться некому. Санитарам, что ли? А про офицеров говорят, что они могут прямо к коменданту пойти. А вы, я вам советую, проситесь скорей на выписку. Санитарам не интересно вас тут держать, так они постараются от вас избавиться.

Бурин согласился и на другой день, утром, был выписан. Но прямо в роту нельзя было идти: нужно было пройти через распределитель, откуда уже направляли каждого выписанного в его подразделение. Вместе с другими Бурин попал в этот распределитель, находившийся в отдельном бараке. Пока проходили процедуру регистрации наступило время раздачи рациона. Опять стали давать малюсенькие порции, но теперь, очевидно чувствуя себя возвращающимися к жизни, некоторые пытались протестовать. Первого же такого, раздавальщики грубо выругали, ткнули ему в руки порцию и вытолкали. Второму, не дав и высказаться, дали по шее и тоже вытолкали. После этого раздача пошла гладко. Бурин смотрел, как совали в руки людей до невероятия

уменьшеные порции и злился. Кроме него и раздавальщиков, все были кавказцами. Они что-то, по-своему бурчали, но покорно брали даваемое. Вдруг один запротестовал. Бурин увидел, что раздавальщик замахнулся, ударил. Вспыхнула злоба. Подошел к раздавальщикам и сказал:

— За что людей бьете?! Своих людей!

— Не своих, а ялдашей, — ответил раздавальщик и, вдруг озлясь, закричал: — А ты что, тоже по шее захотел?

Бурин вспомнил, что говорил ему русый о боязни санитаров к офицерской роте. Решил попробовать, и сказал:

— Я из офицерской роты. Попробуй дать мне по шее!

Раздавальщик посмотрел на него, во взгляде было смущение, и торопливо открывая дверь перегородки, сказал:

— Пройдите, пожалуйста, сюда!

Бурин шагнул за перегородку. Раздавальщик провел его в соседнее помещение. Бурин увидел: на столе — большой кусок сыра, колбаса, масло и хлеб.

— Сейчас отделим вам хороший рацион.

— Мне, больше чем другим не нужно. Как вам нестыдно?

— Да оно, конечно . . . но, знаете . . . плен . . . — бормотал раздавальщик.

Бурину стало противно от этого бормотания, он подумал, что раздавальщики, боясь чтобы он не донес немцам, хотят задобрить его, и, понимая что доносить — не имеет смысла, все равно, если даже этих накажут, другие будут опять делать то же, сказал:

— Ладно. Что было, то прошло. А сейчас, делите на толковые порции и остальным такие раздавайте.

Не видя, очевидно, другого выхода раздавальщики заторопились делить и Бурин получил, все-таки, заметно большую порцию.

**
*

В офицерской роте Бурину показалось, что люди стали, как будто, немного здоровей. Его возвращению никто не обрадовался, только Лукьяненко, увидев, подошел и сказал:

— Ага! Вернулись. Хорошо, запишу вас на рацион.

Бурин занял свое старое место на нарах и осматривался. Вот с нар слез высокий средних лет человек. Бурин вспомнил, что это доцент Ростовского университета Торохов. Доцент снял шинель, достал с нар какой-то мешок, потом — другой, сложил мешки вдвое, Бурин заметил, что к ним прикреплены какие-то тесемки. Доцент положил мешки на спину, привязал к телу тесемками, поверх надел шинель. Потом положил себе на голову кусок мешка и поверх натянул шапку так, что мешок закрывал его затылок. Эти приготовления заинтересовали Бурина и он ждал, что будет дальше. Торохов пошел к двери. За ним еще несколько человек. Пошел и Бурин.

Торохов остановился около дороги, ведущей к кухне и смотрел в сторону склада. Вот оттуда показалась подвода. Торохов отошел от дороги и спрятался за углом дома. Подвода приближалась. Бурин увидел, что она нагружена картофелем. На доске, спереди, сидел возчик с длинным кнутом в руке. Подвода поравнялась с Тороховым. Он выскочил из-за угла, кинулся к подводе, забежал сзади и бросился грудью на нее. Возчик обернулся, взмахнул кнутом и ударил по спине Торо-

хова. Раз, другой . . . А Торохов греб с подводы картофель и совал себе в карманы. Несколько картофелин упало на землю. Вышедшие вместе с Тороховым сейчас же подхватили их. Все произошло так быстро, что Бурин не успел понять происходящее. Торохов, с полными карманами и несколькими картофелинами в руках отбежал от подводы. Возница, ругаясь, хлестнул теперь уже по лошадям и подвода проехала. Торохов, с торжествующим видом отправился в помещение.

Рядом с Буриным, на нарах, молодой, особенно поправившийся, лейтенант Соколов прячет картофелины в вещевой мешок. Заметив, что Бурин смотрит на него, говорит:

— А здорово он, Торохов, приспособился! Даром, что доцент, а сообразил. Он так — каждый день. Картошка печеная — вкусная.

— Но как же так? Ведь он чужую картошку хватает! Да и как ему не стыдно или, хотя бы не больно, когда его кнутом хлещут?

— А он не даром доцент: все учел. Через шинель и мешки кнут не прошибает. А стыдится? — Мы в плену.

Утром Лукьяненко объявил о построении. Построил всех и привел на плац, где производилась поверка. У ворот стояли конвоиры с винтовками, а несколько в стороне — пожилой немецкий майор с малюсеньким пистолетом на поясе и переводчик. Переводчик подошел к строю и сказал:

— Господин майор — немецкий священник — хочет повести вас гулять за лагерь.

Такое желание майора удивило Бурина. Он увидел, что тот говорит что-то конвойным и ожидал, что они сейчас окружат пленых. Но конвойные пошли к воротам, а майор-священник — к строю. Подошел, стал

перед ним и, дождавшись пока конвоиры отворили ворота, негромко скомандовал:

— Marsch!

Повел к воротам. Бурин, глядя на конвойных, думал, что они сейчас окружат строй, но конвойные остались у ворот. Майор-священник, опустив голову, один, шел впереди. Казалось невероятным, что один немец решился вести более ста пленных и все, не веря и думая, что конвой, все-таки, где-то есть, покорно шли. Вышли в поле. Отошли уже довольно далеко. Бурин оглянулся. Конвоя нигде не видно. Впереди, виднелся сосновый бор. Майор-священник вел к нему. «Вот, — подумал Бурин, — один немец, с игрушечным пистолетом, ведет нас к лесу. Неужели он не понимает, что нам ничего не стоит ухлопать его и уйти в лес? Нас больше сотни, а он — один человек». И вдруг слово «человек» заполнило сознание. Бурин почувствовал, что ведет, именно, Человек, и «ухлопать его» — немыслимо.

Майор-священник сказал что-то переводчику. Тот повернулся к строю и перевел:

— Господин майор просит вас спеть русскую песню.

Слово «просит» прозвучало сильнее приказа. Кто-то запел строевую песню. Сначала неуверенно и слабо, потом уверенней и сильней подхватил строй. И песня зазвучала. Лица оживились; четче зашагали люди деревяшками по снегу; впереди, с опущенной головой, как в раздумье, шел майор-священник.

Вошли в лес. «Вот, сейчас, вот сейчас, — думал Бурин, — кто нибудь кинется на него. Он должен быть осторожным». А человек впереди, не оглядываясь, вел глубже в лес. Вышли на полянку. Бурин увидел: старая серая деревянная часовня; возле — кладбище с покосившимися крестами. Майор-священник остановился и сказал что-то переводчику. Тот перевел:

— Здесь, на этом кладбище, погребены павшие в первую мировую войну, когда господин майор был лейтенантом, немецкие и руские солдаты. Господин майор сказал, что вы можете разойтись, куда кто хочет, и через полчаса опять собраться здесь.

Майор-священник сел на камень у могилы. Большинство пленных сгрудилось около него. Только несколько человек ушло в лес. «Вот, — подумал Бурин, — он верит в людей, верит что его не подведут. А что, если найдутся такие, что не вернутся?» Но эта мысль показалась ему невероятной — не могут люди подвести Человека! И вдруг Бурин почувствовал, что, несмотря на все ужасы плена, человеческое в нем сохранилось. И хотел верить, что оно сохранилось и в других. «А что, если активист, со своими, не вернется?» — опять забеспокоила мысль. Огляделся. Активист стоял возле майора. А тот, посмотрев на окружающих, начал тихо говорить. Переводчик, тоже негромко, переводил. Майор рассказывал о прошлом, о боевых товарищах и противниках, которые нашли покой здесь, на этом кладбище. Майор замолчал. Посидел немного молча и сказал что-то переводчику. Тот перевел:

— К сожалению, нужно идти назад в лагерь. Господин майор просит строиться.

И опять это «просит» было сильнее приказа. Когда построились, все оглядывались: не остался ли кто в лесу? Нет, собрались все.

Через несколько дней, утром, пришел переводчик и объявил, что, по просьбе господина майора, комендант лагеря распорядился отправить офицерскую роту на работу. Это сообщение удивило Бурина. Ведь даже во Владимире-Волынском офицеров работать не заставляли. А тут, «по просьбе господина майора» назначили на работу. «Наверное, это какая-то особая работа», —

решил он. Опять построили перед воротами, но теперь командовал унтер-офицер, и повели под конвоем. Вывели из лагеря, повели в поле. Издали увидел Бурин стоящие на какой-то запасной ветке железнодорожные товарные вагоны. Подвели к ним. Остановили. Через несколько минут подъехали пустые подводы. Солдаты открыли двери вагонов. Бурин увидел в них большие жестяные банки. Солдаты жестами показали, что их нужно грузить на подводы. В вагоне оказалось, что некоторые банки открыты и в них мармелад. Хватали мармелад пригорошнями, размазывая по лицу ели. А конвойные делали вид, что не замечают. Бурин скоро почувствовал, что, буквально, полон мармеладом. Стало тяжело дышать. И трудно было поднимать банки и класть их на подводу.

Вернувшись в казарму, Бурин улегся на нарах и наслаждался чувством сытости.

Прошло несколько дней, одинаковых и скучных. По вечерам счастливцы, добывшие сырые картофелины, пекли их в отопительной печке. Иногда таким был и Бурин. Ему казалось, что жизнь уже стала хорошей. Злило только ежедневное стояние на молитве — под командой активиста. Но, страное дело, его раздражал не столько вид активиста, сколько — майора Иванова. Этот маленький чернявый человечек на молитве делал умиленное лицо, поднимал взор вверх и, казалось, устремлялся к небу. Бурин не верил в искренность майора Иванова. Ему этот Иванов был противен, больше того — ненавистен. Вечером, после удачного «картофельного» дня, Бурин расположился у печки, дожидаясь очереди печь картофель. В это время появился майор Иванов с котелком, в котором был очищенный картофель. Не заботясь об очередности он хотел поставить котелок на огонь. Бурина это возмутило. Злобясь он сказал:

— Вы что, не видите — другие ждут.

Майор Иванов, не обращая внимания, подвинулся к печке. Бурин, вдруг, ухватился за котелок, рванул. По помещению полетели куски картофеля. Иванов растерялся. Бурин кинулся на него. Кто-то схватил его за плечи, оттянул назад. Бурин рванулся, освободился и... отошел в сторону, удивляясь своей нездержанности. «Что меня, в этом майоре Иванове, так раздражает? — подумал он. — За одно только умиленное лицо при молениях нельзя чувствовать такой злобы. Что-то в нем есть такое, скрытое, за что я его ненавижу. Но что?» Так и не решив этого вопроса, он испек свой картофель, съел и пошел спать.

В лагерь прибыла новая большая партия пленных. Это были уже, почти исключительно, русские. Бурин смотрел, как им выдавали суп, картофель и все остальное и думал, что они счастливцы: их не посадят на уменьшенный пленный паек, как сделали с ними. Разговаривать с новыми не запрещали и все спешили узнать новости. Особенно оживленно расспрашивал майор Иванов. Вдруг один из новых, с которым разговаривал Лукьяненко, прервал разговор и, указывая на майора Иванова, сказал:

— А этот, что тут делает?

— Как, «что тут делает»?! — удивился Лукьяненко.

— Да так... А вы знаете, кто это такой?

— Конечно знаю. Это майор Иванов.

— Никакой это не майор, и никакой это не Иванов! Ах гад! Ишь, как устроился — майор!

— Чего вы его ругаете?.. — не понимая начал Лукьяненко.

Не дослушав его, новый закричал:

— Эй, ребята! Смотрите! Вон он, гад! — и бросился к Иванову.

Лукьяненко и другие, с помощью лагерных полицаев, едва смогли отбить Иванова, перепуганного и бледного, от наседавших новых. Ярость их была так велика, что, казалось они вот-вот сомнут окруживших Иванова защитников. Бурин смотрел и не чувствовал никакого желания идти на выручку. Суматоху заметили немцы. Прибежали переводчик, зондерфюрер и несколько солдат. Окружили Иванова. Отогнади в сторону новых. Бурин подошел ближе. Оказалось, что новые в Иванове узнали дивизионного комиссара Кольшвили. Его, под конвоем увели.

«Так вот почему он был мне так противен! — думал Бурин. — И именно то, что он так перекрашивался, подсознательно видимо, чувствовал я. А сколько на нем крови наших людей! Ну, теперь, наверное, придется ему расплатиться». Два дня ждал Бурин, что вот-вот сообщат о мере наказания комиссара. Смотрел на помещение, в котором держали арестованного Кольшвили и с удовольствием представлял себе, какое тот имеет сейчас лицо. Но ничего нового не сообщали. На третий день, наконец, неофициально узнали: Кольшвили переодели в новенькую комсоставскую форму и отправили в Берлин. Эта новость огорошила Бурина. «Так вот что! — думал он. — Комиссаров в Берлин отправляют. Видимо, и здесь они пригодиться могут — с их подхалимством, жестокостью и карьеризмом, а главное — способностью перекрашиваться, они и здесь работу найдут». Эти выводы раздражали и угнетали. Он думал, что если немцы сделают ставку на таких, позволят им организовывать здесь войска для борьбы со сталинизмом, трудно надеяться на что-нибудь хорошее. Старался утешить себя мыслью, что, все-таки, изменение отношения немцев к русским, хотя и неправильное, но

есть. Терзаемый сомнениями решил поговорить с Лукьяненко. Разыскал его и спросил:

— Что вы думаете об этом переодевании комиссара и отправке его в Берлин?

— Что я думаю? А вас почему это интересует? Я не комиссар.

— Это я знаю, и потому хочу поговорить с вами. Я все время надеялся, что немцы поймут необходимость дать нам оружие и, в союзе с нами, с честью окончить войну.

— Ну и что ж? Радуйтесь, что немцы что-то поняли. Раньше они расстреливали скрывшихся политработников, а теперь обмундировывают и в Берлин отправляют.

— Вот это меня и тревожит. Как это так, со сталинскими политработниками идти на борьбу с сталинизмом?!

— А с кем же идти? Не Ванюху или Митюху в руководители назначать! Нужны политики? А каких лучших найдешь? Лучших в СССР давно уничтожили.

— Но как же так?! Все-таки нельзя же новую русскую армию под руководством сталинских политработников создавать?!

— А почему нельзя? Они, эти политработники, за свои интересы, родного отца продадут, не то что Сталина! А тут, это надо учитывать, они, боясь сталинской расправы, самыми активными антисталинцами сделаются и, если немцы не обманут и их и нас, может быть и удастся с оружием домой вернуться.

— Но все-таки . . .

— Чего там «все-таки»! У немцев Гитлер — не хуже Сталина. Гитлер знает, что народу вождь нужен, что народ за вождем, если вождь из себя бога сделал, лучше чем за любым президентом пойдет. Сталин тоже по-

нял это. Недаром он себя «великим», «отцом народа» и так далее объявил.

— Но и Гитлер, и Сталин не отцы, а враги народа!

— Это думаете вы, а что думают другие? Мало ли таких, которые кричат: «За Сталина!» и верят, что он, действительно «отец народа»? А о немцах и говорить нечего! Большинство их опьянено успехами фюрера и готово за него в огонь и воду.

— Меня немцы мало интересуют. А что касается наших, то они в Сталине давно разочаровались. Если бы не так, не сдавались бы в плен массами.

— В плен-то сдавались, а вот, свернуть Сталина, дома, не посмели.

— Дома — да, но тут . . .

— Тут, — не дал закончить Лукьяненко, — тут, без вождя или вождей тоже не сумеют. Разве вы не понимаете, что сталинский террор был направлен, главным образом, против потенциальных вождей. А без вождей народ — овца. Немцы это понимают, и хотят, чтобы использовать нас, дать нам вождей, таких которые и им угодны. Подождите немного, и увидите, что начнут организоваывать армию во главе с бывшими сталинскими генералами и, конечно, такой армии и политработники понадобятся. Вот что я думаю об отправке комиссара в Берлин. Удовлетворены вы?

— Я чувствую себя вынужденным согласиться с вашими доводами, но это . . . это неприятно.

— Неприятно и мне, но что поделаешь? Нам с вами вождями не стать. Во всяком случае, — не стать вначале. А потом, — увидим.

— Значит, вы думаете, что сейчас нужно строить нашу армию с помощью бывших советских генералов и комиссаров?

— Конечно. Ведь и в гражданскую войну пришлось

создавать армию с помощью старых специалистов. Иначе была бы не армия, а партизанщина.

**
*

Вечер. В зале на втором этаже над столом горит электрическая лампочка. За столом сегодня необычно много людей. Против обыкновения никто не играет ни в самодельные карты, ни в такие же шахматы или шашки. Все оживленно разговаривают. Тема разговора одна — возможность скорой отправки в армию. Говорят, что уже заготовлены списки: кого и куда отправят.

— Вот, я слышал, — говорит лейтенант Соколов, — что генерал Власов создает Русскую Освободительную Армию. Может быть, туда возьмут.

— Держи карман шире! — отвечает лейтенант Славянский. — В Русскую Освободительную Армию нужны русские.

— А мы, кто? Не русские?

— Мы теперь казаки. Для нас, значит, будет особая армия.

— Все равно, — вмешивается лейтенант Стрельцов. — Рано или поздно, все формирования во Власовскую армию вольются.

Бурин слушает и думает: «Какие эти трое разные люди: Соколов — дома был часовым мастером, здесь он этим ремеслом подрабатывает, все заботы об этом заработке, да о варке добытого картофеля, эгоист большой; Славянский — я не верю, что это его настоящая фамилия — кадровый, уже выбором фамилии подчеркнул свою русскость, а вот в казаки записался; а этот, остроносый, живой как ртуть Стрельцов — типичный пролетарий; а желание одно — в Рускую армию всту-

пить! Для этого, видно, и в казаки, как я, записались».

— Власов,— громко сказал в это время Соколов, — Власов — наш генерал. За ним все пойдут!

— А что ты о нем знаешь? — спросил Стрельцов.

— Знаю, что он настоящий генерал.

— И это все? — Мало.

— Достаточно. А что еще нужно?

— Нужно знать, что он в гражданскую войну, за красных воевал, что он и в эту войну за Сталина воевал и не сдался, а несколько недель по лесам прятался, когда в окружение попал. Только когда выхода не было в плен сдался.

— Ну что же, что прятался. Не он один прятался. Ты тоже, наверное, прятался.

— Мне некогда было прятаться. Я в бою в плен попал.

— Так что ж, струсил?

— Ничего я не струсил! Случай такой вышел.

— Случай, случай! — Струсил! Вот и все.

Стрельцов рассердился, зло посмотрел на Соколова, потом, вдруг улыбнулся и начал говорить:

— Псих ты, со своим струсил! Сам, может быть, струсил и про всех так думаешь. Слушай, вот, я расскажут тебе, как я бился и как в плен попал. Я, был танкистом, — войска особенные, отборные. По-особенному мы и воевали . . .

— Значит, ты сталинцем был, — перебил Соколов.

— Может быть и был, да ты слушай, не перебивай. Расскажу я — само собой видно будет, чем я был и чем стал. Нас, танкистов, всегда под политпропагандой держали. Доблесть и геройство воспитывали.

— У нас тоже, — вставил Соколов.

— У вас, пехтуры, дело другое. Ты среди бойцов был, их настроениями питался. Правду я говорю?

— Конечно, правду. Ну и что же?

— Да то, что у бойцов могли разные настроения быть, а мы, танкисты, маленькими экипажами были. У нас разных настроений не было. Все были кадровые, все друг друга хорошо знали и держать нас под пропагандой было легко — от других оторванные. Сядешь в танк, — от всего мира броня отделит. Так, вот, были мы под Ростовом, а немцы на него перли. Дали нам приказ их головные танки остановить. Проехали мы через город, думали что немцы еще до него не дошли. Только на окраину вылезли, а я как раз там жил, сведения: головные немецкие танки уже вошли. Еду я и думаю, что вот сейчас выеду на площадь, где моя квартира, может быть с отцом, матерью и сестрой, хотя бы проездом, увижусь. Выехал на площадь. Смотрю, прямо против моей квартиры немецкий танк. У меня все так и захолонуло . . .

— Трухнул? — опять перебил Соколов.

— Да трухнул. Тогда, на моем месте, любой трухнул бы. Я тебе сказал, танк немецкий — прямо перед моей квартирой: выстрелишь по нем, да, не дай Бог, промахнешься, прямо в своих снаряд влепишь. Вот, смотрю я на немца, страшно мне своих побить, и вижу — его пушка к нам поворачивается. Подал я команду, а у самого все тело дрожит. Грохнула наша пушка. Я даже, на мгновение, глаза закрыл. Так страшно было, что в дом влепили . . . Потом, открыл глаза, вижу — дымит, понимаешь? Немецкий танк дымит. С первого снаряда влепили ему. Я и обрадоваться толком не успел, как в телефоне приказ: отходить. Вот так мы бились. Не то что своей, а и жизнями родни рисковали.

— Ну ладно, это под Ростовом было, а потом? Как ты в плен попал?

— Потом перебросили нас на другой участок фронта.

Пошли мы в наступление. Еду в танке. На ходу по их пехоте из пушки бью, а они, сволочи, по нас из противотанковых. Качается танк, трудно видеть перед собой, а тут еще дымом все застилает. Вдруг чувствую, закрутился танк. Ясно, гусенницу перебили. Кричу своим, чтобы вылезали: все равно, если танк — на месте, его не спасти. Стали выскакивать. Прямо под пулеметный огонь. Товарищи мои из танка на землю мертвыми. А мне удалось целому выскочить. Прижался к броне, пистолет в руке зажал. Думаю: «До последней пули — немцам. Последнюю себе!» А немцы уже подбегают. Прицелился в одного, а он кричит: «Эй, танкист! По своим не стреляй!» Да чисто по-русски. Оторопел я — русские, что ли, в немецкой форме. А он подбежал и опять по-русски объясняет, что он доброволец, бьется против Сталина, — не против русских — сам русский.

— А ты и слюни распустил!

— Можешь считать, что распустил. Во-всяком случае стрелять уже не смог — ни в него, ни в себя. А он мне сказал, чтобы я в тыл шел. Только чтобы оружие оставил.

— А ты обрадовался и пошел. Да?

— Не знаю, обрадовался ли, но пошел.

— А там тебя «в плен взяли», в лагерь отправили.

— Нет, там не взяли. В рускую часть попал. При кухне оставили.

— А как же ты в лагерь угодил?

— Да, через день, компанифюрер, спросил, хочу ли я в немецкий танк сесть и против своих в бой ехать. Я отказался. Вот и передали меня в пленные. Понял?

— Понял. А как же ты теперь сам просишься в немецкую армию?

— Я не прошусь в немецкую армию, а в свою. Это

первое, а главное то, что в плену я других послушал, понял почему люди массами в плен сдавались. Понял, чего народ хочет.

— А если, все-таки, не в русскую, а в немецкую армию пошлют, что тогда?

— Тогда видно будет, — уклонился от прямого ответа Стрельцов.

Этот разговор врезался в сознание Бурина. Четко и неумолимо поставил перед ним вопрос: а что если в немецкую армию пошлют? Долго ворочался он на своем матраце, раздумывая. Наконец, решил: лучшего ответа, чем дал Стрельцов — тогда видно будет — не найти. И с этой мыслью заснул.

Утром, после чая, Лукьяненко вызвали в комендатуру. Бурин думал, что вызвали, чтобы объявить об отправке в армию и с нетерпением ожидал его возвращения. Не мог усидеть в казарме и вышел во двор. Там уже собралась значительная группа и все с нетерпением поглядывали на комендатуру. Наконец Бурин увидел: оттуда вышел Лукьяненко. Не сдержался и пошел навстречу. За ним остальные. Еще не сошлись, как кто-то крикнул:

— Что, отправляют?

Лукьяненко молча подошел и только тогда сказал:

— Никуда не отправляют.

Бурин с огорчением спросил:

— Зачем же вызывали?

— А вы думаете, — улыбнулся Лукьяненко, — что и немцы только об отправке думают? Вызывали, чтобы сообщить, что нужно идти на обмундировку.

Бурин удивился: об обмундировке он никогда не думал. Другие вопросы занимали его, да к тому же, казалось, что обмундирование — что-то слишком шикар-

ное, не подобающее пленным. А тут, вдруг, обмундирование! Невероятно!

В казарме Лукьяненко объявил построение. Когда все построились во дворе, объявил, что сначала поведет в баню, там нужно будет сдать теперешние лохмотья, потом выкупаться, а после бани дадут все новое. Бурину было жалко расставаться со своей шинелью: боялся, что взамен ее получит что-то худшее. В предбаннике разделись. Бурин хотел связать свою одежду в узел и не знал, чем отметить ее — номеров уже не было. Но Лукьяненко объявил, что барахло нужно просто бросить в кучу. С сожалением Бурин бросил. Вошли в баню — столько человек, сколько было душей. Едва Бурин стал под душ оттуда брызнула вода, намочила и перестала течь. Бурин знал, что это делается для экономии воды. Намок, значит нужно намыливаться. Потом опять дадут воду — обмыться, и закричат „Raus!“ Но мылиться было нечем — мыла не давали. Бурин стоял под душем и мерз. Посмотрел на свои ноги: они не были уже палками с шишками колен. Просто худые ноги. Брызнула вода и сейчас же „Raus!“ Мокрый Бурин вышел из бани в соседнее помещение. Бросились в глаза кучи: белье, синие штаны и какие-то невиданные защитные суконные мундиры. Лукьяненко сказал, что каждый должен выбрать себе по росту обмундирование, но не надевать, а принести его к столу — для записи; после нее — можно одеваться.

Радуясь, что он получает чистое, хотя и поношенное, белье и обмундирование, Бурин, выискав все, пошел на запись и, после нее, стал одеваться. Натянул на себя белье — изумился, какое оно мягкое и теплое. Синие суконные штаны показались очень теплыми, а защитный, тоже суконный, мундир показался щегольским. Зеркала не было, и чтобы представить себе, как он вы-

глядит, Бурин стал рассматривать уже одевшихся. Возле него стояли ни то польские, ни то румынские солдаты. Странными казались защитные погоны на мундирах. Невольно вспомнилось: «золотопогонники». Но погоны не были золотыми, но все же погоны! Странно. Обуви не дали. Пришлось идти в предбанник и разыскивать свои деревяшки. Без грязно-коричневых шинелей все, в чистом обмунировании, казались другими. Мешковатый раньше Соколов, теперь стал стройным, и чувствуя это выпячивал грудь. Вдруг он засмеялся и сказал:

— Эй, Торохов! А как же теперь за картошкой? В новом-то обмундировании от кнута не спасешься!

Все посмотрели на Торохова. Он тоже казался теперь очень помолодевшим и стройным. Обмундирование выбрал точно по росту. Чувствуя на себе любопытные взгляды, он смутился и молчал.

— Смотрите на него, — не унимался Соколов. — Он забыл, что мешки под мундир нужно подкладывать. В обтяжку выбрал!

Торохов опять смолчал. А Стрельцов, вдруг, добавил:

— И шапки у него нет — одним мешком придется голову обматывать. Турком будет.

— Не у меня одного нет шапки, все без шапок остались, — сказал Торохов.

О шапках теперь все вспомнили — действительно, шапок нет.

— Вот так номер! — сказал Лукьяненко. — О них и я не вспомнил. Подождите, сейчас пойду спрошу.

Вскоре он вернулся и сказал, что шапки нужно будет получить прямо со склада.

Пошли к складу и получили похожие на немецкие, но защитные, шапки с козырьками.

***

Сосед Бурина на нарах, немолодой уже человек и, действительно настоящий казак, даже казачий офицер до революции, что не помешало ему в гражданскую войну вступить в Красную армию, стал ночью стонать, что разбудило Бурина. Посмотрел: Егоров сидит на нарах, держится руками за шею и с хрипом стонет.

— Что с вами? — испуганно спросил Бурин.

— Не зна-ю. Бо-ль-но и тя-же-ло ды-шать . . .

До утра Бурин старался, чем мог помочь Егорову, а когда лагерь проснула его отвели к врачу. Оказалось, что Егорову нужно сделать операцию и он попал в хирургическое отделение, где был раньше Бурин. Через несколько дней Бурин, помня как его угнетало после операции невнимание товарищей, решил посетить Егорова. Он оказался в той же самой комнатке, где был раньше Бурин. Посетителю Егоров очень обрадовался. Бурин смотрел на забинтованную шею человека и уговаривал поменьше говорить. А Егоров, хрипя и тяжело дыша, говорил и говорил:

— Вот, вы пришли, а я уже давно перестал верить, что в нас, пленных, сохранились еще человеческие чувства. В старой армии, в первой войне, кто из плена потом возвращался, рассказывал, что друг другу помогали а у нас . . . Стыдно мне, но когда вы были в этом лазарете, мне тоже не пришло в голову навестить вас. А вы, вот пришли. И это меня невероятно радует, а не знаю, как благодарить вас . . .

— Да и благодарить не за что, — перебил, наконец, Бурин. — Вы поменьше говорите. Вам говорить вредно.

— Мне жить вредно. В последнее время я потерял веру во всё — в себя, в людей, во всё. А вы вот при-

шли и во мне эту веру возродили! Как же мне не говорить?

И как Бурин ни уговаривал, Егоров не унимался. Наконец Бурин, боясь что тот опять заболеет, встал, попрощался и ушел. В казарме нашел Лукьяненко и, отведя в сторону, сказал:

— Я только что был в лазарете у Егорова. Он поправляется, ему нужно усиленное питание, иначе он не выздоровеет.

— А откуда мы возьмем для него это питание?

— Нас много, а он один. Если мы дадим понемножку каждый из своего рациона — будет ему хороший добавок.

— Из нашего рациона?! — удивился Лукьяненко. — И вы думаете, что наши согласятся.

— Я хочу думать, что согласятся. Конечно, если им напомнить, что они, все-таки люди.

— Попробуем. Я соберу собрание.

Лукьяненко собрал всех на втором этаже. Рассказал о положении Егорова и предложил отделить для него, из рациона, понемногу от каждого.

— Как это отделить? — вскинулся активист. — Да нам и самим не хватает. Он там больничный паек получает.

Бурин встал, со злостью посмотрел на активиста и сказал:

— Я сам был в этом лазарете и знаю, какой там паек дают. На таком пайке не поправишься. Мне из своих никто не помог, а вот пленный, через проволоку пожалел. Хоть кусок тыквы, но дал . . .

— Казаков срамил, — перебил активист, — у пленных подаяния просил!

— Я не просил. Он сам дал.

— Сам никто ничего не даст . . . — начал активист.

— Молчал бы уже лучше! — перебил его Стрельцов. — Кто у кого милостыни просит, — мы все знаем. Иди, становись на молитву! За нее тебе подадут. А нам, товарищи, у пленных учиться надо. Людей жалеть учиться.

Активист замолчал и сделался незаметным. Началось обсуждение — по сколько и от чего отделять для Егорова. Стрельцов предложил отделять от всего получаемого — и от хлеба, и от колбасы, и от масла и от картошки. Кто-то подхватил — от картошки и скоро обсуждение свелось к тому, сколько вареной картошки давать для Егорова. В результате все согласились, что можно давать полный котелок. Вдруг возник новый вопрос: кто будет носить картошку в лазарет? Стали предлагать, носить по очереди, но Лукьяненко сказал:

— Этот вопрос, мне кажется, решается сам собой. Бурин предложил помочь Егорову, пусть он и носит ему.

«Вот, — думал Бурин после собрания, — человечности хватило только на картошку. Отделить грамм масла или колбасы показалось страшным. Наверно некоторые уже успели подсчитать, сколько в грамме калорий. Проклятые калории! Но все-таки, хоть маленькая, но, все же, человечность проявилась. Стрельцов, хотя и предложил от всего отделять, видимо под мгновенным наплывом чувства, но потом это не отстаивал. Крепко еще голодание в плену держит».

В обед, когда принесли бачки с картошкой, наполнили ею котелок и передали Бурину. Съев свою порцию, Бурин поглядел на стоявший рядом котелок, полный картофеля. Очень хотелось взять картофелину из него. «Нет, — подумал он. — Это уж никак не возможно! Понесу и отдам скорей, чтобы не искушало».

Егоров встретил радостно. Увидев котелок, удивил-

ся, и не хотел брать, говоря, что не может отнять у Бурина столько пищи. Тот объяснил, что это от всей роты. Егоров взял. На глазах его появились слезы и он сказал:

— А я, свинья, думал, что пропали у нас все человеческие чувства.

Бурин ожидал, что Егоров сейчас же примется за картофель, но тот поставил его на койку и сказал:

— У меня сейчас и аппетит пропал. Пропал от радости. Что-что, а это я от наших ребят никак не ожидал — обо мне подумали, пожалели.

Бурин смолчал, что жалость дальше котелка картошки не пошла.

Рассказал о разговорах, по поводу ожидания отправки в армию и спросил:

— А что вы об этом думаете?

— Я многого от этого не ожидаю. Всю жизнь надеялся — сначала, в гражданскую войну, надеялся завоевать жизнь хорошую, а что получилось? — Завоевал, вместо Николая II, Иосифа I. В начале этой войны ожидал, что народ поднимется и новой революцией освободится от новой монархии. А что случилось? — Вот тут, в плену оказался? Уже тут надеялся, что свои, белые эмигранты . . .

— Какие же вам белые эмигранты свои? Ведь вы против них воевали! — перебил Бурин.

— Конечно воевал, но воевал потому, что они, тогда, действовали как явные реакционеры. А я не хотел реакции. Но теперь, после многих лет, я думал, что они увидели свою ошибку, увидели, что в сущности, мы, не желая этого, их дело завершили — монарха в Москве посадили. Правда нового, но все-таки монарха. А они, я верил, за годы жизни за границей должны были понять, увидеть, разницу между монархией и демо-

кратией, той демократией что и им, монархистам, дала убежище. Вот и считал я, что они теперь свои, что найдут возможность встретиться с нами, найдут общий язык, пойдут с нами против Иосифа. А где они? Что они делают? Почему мы никого из них не видели?

— Да, может быть, им Гитлер к нам доступа не дает. Вот и не видим мы их. А вот, если попадем в армию, там, наверное, увидим.

— Если попадем в армию! .. В какую?

— Да это все равно.

— Как это так — все равно?! А если нас заставят в немецкой армии служить? В своих стрелять?!

— Для вас, я вижу, свои двоятся: и белые — свои, и красные — свои.

— Красных мало осталось. А русские, — и тут, и там — остались. Вот в них и не хочу я стрелять.

— Да в них стрелять и не придется. Они, все равно в какой форме мы пойдем, за Иосифа биться не станут. В нас, своих, стрелять не станут. Значит и нам в них стрелять не придется. Сдавались же массами даже немцам, а, если увидят что не немцы, а мы идем, и сдаваться не будут — просто станут к нам переходить. А мы, тогда, сможем в их форму переодеться и, хотят немцы или нет, сама собой создастся русская армия . . . Да, говорят, что она и сейчас уже создается здесь, под руководством генерала Власова.

— Вот это мне и не нравится, что советский генерал в возглавители попадает.

— Ну и что же, что советский генерал. Вы ведь тоже были советским командиром.

— И вы — тоже. Только боюсь я, что разница между нами и им большая. Мы там, в СССР, маленькими людьми были, службу по необходимости несли, а он? — Он до конца за Сталина бился. Я слышал, что и в плен

он попал после долгого бегания по лесам. Как же можно поверить, что он, вдруг, в плену, антисталинцем стал?

— Да это, в конце концов, все равно — стал ли он таким или нет.

— Как же так, — все равно?

— Да так: ему к Сталину назад дороги нет. Хочет он или не хочет, а теперь должен до конца против Сталина идти. А народу нужен вождь. Не нам же вождями объявляться! Мы, хотя бы в сто раз лучше его были, люди неизвестные, за нами массы не пойдут.

— В этом вы правы. Может быть и он пригодится.

— Не может быть, а пригодится. Я в этом уверен. Я тоже, сначала, как вы думал. А сейчас, как только представится возможность, буду проситься в его армию. Уже потому, что, если он и не искренний антисталинец, то нужно, чтобы такие возле него собрались. Тогда, в общем, дело будет, действительно, антисталинское. Да, к тому же, я уже сказал, что у него другой дороги, как идти до конца против сталинцев, нет. Вот я и думаю, что нельзя упускать момент. Нужно брать оружие, все равно кто его дает, все равно кто руководит, лишь бы начать организованную борьбу. Если мы будем слишком разборчивыми, такими как были Керенский и его сподвижники, народ не простит нам. Они, вот, революцию хотели в белых перчатках делать, а что получилось? — То, что нас всех сюда выгнало.

— Может быть, вы и тут правы. Посмотрим. Я, во всяком случае, вряд ли в армию попаду — после этой операции и эта надежда пропала — инвалидом стал.

— Ничего, поправитесь! Главное — не поддавайтесь. Инвалидом объявляться — еще рано.

Егоров улыбнулся. Посмотрел на Бурина и сказал:

— Молоды вы, надеждами живете. А я уже много

раз терял надежды. Но попробую еще раз. Чем черт не шутит? Может быть ваши надежды и исполнятся. А сейчас лучше картошку есть, а то совсем остынет.

Возвратившись в казарму Бурин поставил пустой котелок на нары и пошел наверх. Идя по лестнице увидел свою тень на стене. Рядом с ним двигался темный силуэт. Бурин остановился. Силуэт — тоже. В глаза бросилось: на плечах у силуэта погоны. И эти погоны, в первый момент, показались ему чем-то чужим, отталкивающим. Десятки лет пропаганда твердила о «золотопогонниках», как о чем-то зловещем, враждебном. И эта пропаганда въелась в сознание. Но тут же явилась мысль: «Вот и хорошо, что 'золотопогонник'! Во всяком случае — не сталинец!» — и Бурин пожалел, что погоны у него, пока, не золотые.

Прошло несколько дней. Бурин каждый день носил картошку Егорову и каждый раз ловил себя на мысли взять себе одну-две. Но стыдил себя за это. При очередной передаче картофеля Егорову тот сказал:

— А у меня тут целая комиссия была.

— Какая комиссия?

— Да этот председатель стансовета со своими молитвенниками.

— Что ж они тут делали? Молиться вас, что ли, заставляли?

— Нет не молится. Спрашивали, получаю ли, действительно, от вас картофель. Они, сволочи, всё на свой аршин мерят — думали, что вы для себя картофель берете. Противно на них смотреть было.

— Вот такие, в СССР, и выполняли все сталинские приказы. И, может быть, они-то, главным образом, и угнетали народ. Даже против воли Сталина. В усердии пересаливали.

— Ого! Да вы, я вижу, и Сталина защищать готовы!

— Вовсе не готов я защищать его. Только надо быть объективным — без таких Сталин не наделал бы столько вреда, не обозлил бы так народ против себя.

— А теперь такие в армию попадут и опять будут, ради карьеры, перегибать.

— Они уже и сейчас перегибают. И в этом гарантия их провала. Кто их тут любит? — Никто. Только потому что их немцы поддерживают они тут «знатные». А там, когда домой вернемся, немецкой поддержки у них не будет.

— А все-таки, вреда они успеют наделать.

— Может быть и успеют, но от них не избавишься. Теперь не избавишься. А дома — посмотрим.

— Знаете, — переменил тему Егоров, — я долго раздумывал над вопросом: нужно ли, несмотря ни на что, вступать в ту армию, какую разрешают немцы, вернее, можно ли вступать в немецкую армию. Ведь так или иначе, а немцы нас постараются использовать!

— Ну, и к какому же выводу вы пришли?

— Я вспомнил, что вы сказали: политику нельзя делать в белых перчатках. Вспомнил и «цель оправдывает средства». И долго не мог с этим согласиться. Ведь грязные средства марают применяющего их. А вступать в немецкую армию — средство грязное.

— И грязное и не грязное!

— Что это еще за парадокс?

— Да — никакого парадокса! Когда Ленин использовал «грязное средство» — получал от немецкой разведки деньги на революцию, средство было грязное, так как давалось с целью победы над Россией. Если же мы возьмем даваемое немцами сейчас оружие, разница будет в том, что это средство будет, хотят этого немцы или

не хотят, направлено к победе России, к освобождению ее от ига.

— Так же, наверное, рассуждал и Ленин.

— Опять тут большая разница. Ленин фантазировал, что его революция принесет всем свободу. Именно фантазировал. А результат этой фантазии мы увидели. А посмотрите, как народ, по крайней мере большая часть его, думает о Ленине. Ведь, несмотря на его грязное дело, многие думают и сейчас, что если бы он был жив, все шло бы по-другому. И его НЭП, в сущности, был грязным делом, потому что вводя его он говорил: «Шаг назад — два шага вперед», а что сделал народ? — Народ создал миф, что Ленин о нем заботился. А мы, мы, идя на, может быть, грязное дело думаем, действительно, только о народе, об его благе. И, я уверен, народ не только простит нам средство, но и даже поблагодарит, зная, что другого выхода у нас не было.

— Но все же . . .

— Да бросьте вы! — перебил Бурин. — Дело не грязное! И если мы его не сделаем, даже, хотя бы не попытаемся сделать, народ нам этого не простит.

— Вы сознательно закрываете глаза, чтобы не видеть всего того, что придется делать, против убеждения идя в союзе с немцами. Но, правду сказать, я тоже хочу думать, как вы.

***

Наконец, достоверно, узнали, что завтра будут отправлять в армию. Вечером, за столом на втором этаже, эта отправка была единственной темой. Под конец настроение поднялось настолько, что кто-то предложил спеть. Активист сейчас же сказал, что казаки должны

спеть казачью песню. Не дожидаясь согласия запел. Кроме его окружения почти никто не подхватил. Нестройно и слабо звучала казачья песня и Бурин обрадовался, когда она, наконец, кончилась.

— Эй, ребята! — сказал вдруг Стрельцов. — Давайте споем свою! — и запел «Москву».

Слушая запевалу Бурин думал, что уж очень не казачью песню он запел, и вряд ли казаки подхватят ее. Запев кончился и вдруг грянул могучий хор:

Москва моя, любимая,
Никем не победимая!

Невольно запел и Бурин. Пел и видел, как преображались лица людей: что-то гордое появилось в них.

Утром велели строиться для отбора в армию. Это «отбора» удивило Бурина. Он думал, что всех возьмут одновременно. Но стали вызывать по списку. В первую очередь вызвали активиста и его братию. Бурина не вызвали. Оставшиеся разочарованно вернулись в казарму. Начались обсуждения причин того, что не всех взяли. Какие только предположения не делали: и что в какую-то особую часть отобрали; и что отобрали тех, которые больше понравились немцам; и... Наконец Стрельцов почти выкрикнул:

— Чего скулите: не взяли, не взяли?! Ну и хорошо, что сегодня не взяли!

От неожиданности все замолчали. Наконец Славянский спросил:

— Что ж тут хорошего, что сегодня не взяли?

— А ты посмотри кругом, может заметишь.

Славянский, уже с досадой взглянул на Стрельцова, а тот, с озорной улыбкой, повторил:

— Посмотри кругом!

Славянский невольно оглянулся, оглянулись и дру-

гие. Бурин, тоже оглянувшись, заметил, что людей стало меньше.

— Видел, кого нет? — спросил Стрельцов. — Молитвенников нет, всё дерьмо взяли. Вот потому и радоваться надо. По крайней мере не придется служить вместе с ними.

Кругом засмеялись.

— Это ты верно! — смеясь сказал Лукьяненко. — Они мне вот как осточертели — прислужники чертовы!

— А вы не слышали, — спросил Бурин, — думают ли и нас взять?

— Нет, не слышал, — ответил Лукьяненко. — Но думаю, что возьмут скоро. Не могут же они нас тут вечно держать!

Прошло три дня и, вдруг, приказали построиться и идти на плац. Там уже стояли, тоже в строю, рядовые русские. Стали вызывать. Бурин видел, что выходят только рядовые и думал, что зачем же вывели офицерскую роту, если никого из нее не вызывают? Уже с огорчением решил, что их опять не возьмут, как появлся переводчик и объявил, что офицерскую роту берут целиком, и что скоро подъедут машины, что бы везти всех. Объявил и ушел.

Это сообщение всех оживило. Некоторое время все переговаривались, строили всевозможные догадки и поглядывали: не идут ли автомобили. Но прошло уже много времени, а их все не было. Постепенно возбуждение улеглось. Стояли и скучали. Вдруг ворота открылись и в лагерь вошло, без строя, несколько немцев. Бурин увидел, что почти все они унтер-офицеры, что ни у одного нет винтовки, только на поясах пистолеты. Немножко в стороне и сзади увидел человека в особенной форме — немецкий мундир с общитыми серебрянными галунами воротником и манжетами, синие совет-

ске шаровары заправленные в широкие раструбы голенищ немецких пехотных сапог и на груди серебряные аксельбанты. Группа подошла и остановилась перед строем. «Что это еще такое? — подумал Бурин. — унтер-офицеры и с ними этот с аксельбантами?!» А этот с аксельбантами вышел вперед и с отчетливым армянским акцентом объявил:

— Мы приехали за вами. За воротами стоят машины. Слушайте мою команду, —и, непосредственно за этим, скомандовал: — Равняйсь! Смирно! На пра-во! Шагом марш!

Двинулись к воротам. По мере приближения к ним Бурина стало охватывать беспокойство: где конвой? Оглянулся — конвоя нет, только в стороне идут приехавшие унтер-офицеры. Это было невероятно — идти без конвоя. «Но, — подумал Бурин, — конвой, обязательно, встретит за воротами». Прошли через ворота, — конвоя нет. Только в стороне, на дороге, колонна грузовых автомобилей, а возле каждого стоит по одному солдату. У автомобилей человек с аксельбантами остановил. К строю подошли унтер-офицеры, каждый стал отсчитывать, как показалось Бурину, человек по двадцать, а отсчитав вел к автомобилю. А конвоя все не было.

Наконец все разместились в автомобилях, унтера полезли в кабинки. Загудели моторы и колонна тронулась.

«Даже парусину кузовов не закрыли, — подумал Бурин. — Никакого конвоя, везут как свободных!»

А автомобиль, гудя и покачивая, вез куда-то в новое и неизвестное.